

Геннадий  
Прашкевич

# КРАСНЫЙ СФИНКС

Книга первая



# Геннадий Мартович Прашкевич

## Красный сфинкс. Книга первая

*Издательский EPUB*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=164633](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=164633)*

*Красный сфинкс. Книга первая. История русской советской фантастики от В. Ф. Одоевского до Б. Г. Штерна: Свиньи и сыновья; М.; 2016*

### **Аннотация**

В книгу первую «Истории русской советской фантастики» Геннадия Прашкевича, одного из признанных лидеров этого жанра, вошли очерки жизни и творчества самых разных отечественных писателей. Это князь В.Ф. Одоевский, оставивший нам превосходную утопию «4338-й год». Это журналист и востоковед Осип Сенковский, несомненно, предвосхитивший жанр романа-катастрофы. Это Алексей Константинович Толстой, известный русский поэт, развивший в отечественной фантастике ее мистическое начало. А еще – Мариэтта Шагинян, Михаил Булгаков, Алексей Николаевич Толстой, Евгений Замятин, академик В. А. Обручев, Илья Эренбург и многие, многие другие. Список можно продолжать долго. И это не просто очерки о писателях, оставивших свой след в фантастике, это очерки о самой нашей России – истинной и такой, какой она могла быть.

Книга рассчитана на самого широкого читателя.

*Издание третье, исправленное и дополненное.*

# Содержание

Владимир Борисов	5
От автора	17
Владимир Федорович Одоевский	20
Осип Иванович Сенковский (Барон Брамбеус)	47
Николай Васильевич Гоголь	71
Алексей Константинович Толстой	103
Владимир Германович Богораз (Тан)	128
Валерий Яковлевич Брюсов	157
Конец ознакомительного фрагмента.	165

**Геннадий Прашкевич**  
**Красный сфинкс.**  
**Книга первая. История**  
**русской советской**  
**фантастики от В. Ф.**  
**Одоевского до Б. Г. Штерна**

**Владимир Борисов**  
**Третий Прашкевич**

*Мы знаем, как пылают наши листья —  
летающие в огонь черновики.*

*Ген. Прашкевич*

Счет литературных работ Геннадия Мартовича Прашкевича можно начинать с 1957 года; автору, родившемуся 16 мая 1941 года в селе Пировском на Енисее, было тогда шестнадцать лет. В газете «Тайгинский рабочий» появились его стихи «Песня о туристах» и «Дружба», а также очерк «В поисках динозавров» и научно-фантастический рассказ «Ост-

ров Туманов». Правда, годом раньше в той же газете было напечатано еще три стихотворения юного поэта. Вот эти три направления: поэзия (включая сюда переводы с корейского, болгарского, сербохорватского, немецкого); публицистика (то есть многочисленные статьи о науке, творчестве, литературе); наконец, художественная проза – так и оказались главными в жизни писателя. Кстати, в одном своем интервью Геннадий Прашкевич заметил: «Писатель, он как троякодышащая рыба. Он должен дышать так, вот этак, и еще вот этак. Вот он сам так и дышит, по-разному. Ну, соответственно, как дышит, так и пишет».

Чтобы по-настоящему разобраться со всем, что вышло из-под пера Геннадия Прашкевича, нужно писать серьезную монографию. Здесь же я попробую кратко рассказать лишь об одной стороне его творчества – документальной. И даже еще более узко – о работах по истории фантастики, прежде всего, российской.

Здесь следует сделать маленькое отступление.

Найти необходимую информацию по любому вопросу в 60–80-х годах прошлого века было на несколько порядков сложнее, чем сейчас. Не являлась исключением и советская фантастика. Большинство произведений довоенной поры практически не переиздавались. Исключением были «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина» Алексея Толстого да «Плутония» и «Земля Санникова» Владимира Обручева. В конце 50-х практически заново открыли Алек-

сандра Беляева. Что же касается тех авторов, которые сгорели в топке репрессий, то с ними дела обстояли еще сложнее. Их книги были уничтожены или хранились в спецхране библиотек.

Но искатели старой фантастики были.

Таким оказался и молодой поэт Геннадий Прашкевич.

Что-то находил в библиотеках, что-то в букинистических магазинах.

И огромным счастьем в те времена было встретить единомышленников, знатоков отечественной фантастики послереволюционных лет, с которыми можно было обсудить прочитанное, поделиться находками, узнать малоизвестное. Прашкевичу повезло подружиться с такими вот беззаветными единомышленниками – с Георгием Леонидовичем Кузнецовым в Новосибирске, с Виталием Ивановичем Бугровым и Игорем Георгиевичем Халымбаджой в Свердловске – знатоками, собирателями, библиографами, очень много сделавшими для того, чтобы познакомить всех желающих со страницами истории русской фантастики.

Естественное и закономерное желание поделиться с читающей публикой этой заветной информацией в годы перестройки вывело Геннадия Прашкевича в неторопливой беседе с писателем Николаем Гацунаевым к гениальному решению издать Антологию русской советской фантастики, которая отразила бы все ее взлеты и падения, начиная с 1917-го и кончая 1957-м годом.

«Момент внезапного озарения показался нам столь значительным, что Гацунаев остановился и спросил: «Сколько у нас времени?» Наверное, он хотел запомнить выжженный Ташкент, безумное послеполуденное небо Ташкента – великий миг, одаривший нас столь замечательной идеей. Вполне понимая эти чувства, я неторопливо глянул на свои отечественные электронные, недавно на день рождения подаренные мне часы, и с некоторой необходимой моменту торжественностью ответил: «Пятьдесят семь часов девяносто четыре минуты». Вот сколько времени у нас было в тот момент!»

К сожалению, издать антологию не удалось, но Геннадий Прашкевич написал комментарий к этой неизданной Антологии – книжку «Адское пламя», которую посвятил памяти Виталия Бугрова. Комментарий касался важнейшего вопроса советской истории, а именно: как в 1917 году начался долгий, поистине фантастический эксперимент по созданию Нового человека. И тому, как отреагировали на это советские писатели, инженеры человеческих душ, ведь именно они должны были разъяснить читателям, какого именно Нового человека хотели создать неистовые большевики в нашей неистовой, на все способной стране?

Увы, и «Адское пламя» было опубликовано далеко не сразу.

В начале 1990-х в Абакане книга была даже сверстана, пленки сданы в типографию, но очередная экономическая



бифуркация остановила полиграфический процесс в самый последний момент. Книга увидела свет лишь в 2007 году.

Тем не менее Геннадий Прашкевич быстро освоил новый формат повествования: свободный рассказ о событиях близких и отдаленных во времени, обильно уснащенный интересными, нетривиальными цитатами, документальными свидетельствами эпохи, перепиской со многими авторами, с которыми сводила его писательская судьба. В ход пошли отрывки из записных книжек, ирония и юмор облегчали подход к сложным вопросам. Грех было не воспользоваться всем этим еще. Тем более что скоро представился повод.

В 1989 году писатель Михаил Веллер выпустил в Таллине брошюрку под названием «Технология рассказа» – своеобразную инструкцию для прозаиков, в которой детально описывал весь процесс конструирования рассказа. Прашкевич вступил в спор с Веллером, написав необычную повесть-эссе «Возьми меня в Калькутте». В частности, он писал в ней: «Ты можешь с ювелирной точностью разбираться в точечной или плетеной композиции, в ритмах, в размерах, а можешь обо всем этом не иметь никакого представления – дело не в этом. Просто существует вне нас некое волшебство, манящее в небо, но всегда низвергающее в грязную выгребную яму. Что бы ни происходило, как бы ни складывалась жизнь, как бы ни мучила тебя некая вольная или невольная вина, все равно однажды бьет час, и без всяких на то причин ты вновь и вновь устремляешься в небеса... забывая о выгреб-

ной яме».

Позже эссе это органично вошло в «Малый Бедкер по НФ, или Книгу о многих превосходных вещах». На страницах Бедкера смешиваются реальность и фантастика, размышления и воспоминания. А вспомнить автору, зорко вглядывающемуся в жизнь, есть что. Перед читателем проходит череда известных писателей, которых Геннадий Прашкевич хорошо знал: Николай Плавильщиков, Виктор Астафьев, Виталий Бугров, Иван Ефремов, Георгий Гуревич, Сергей Снегов, Валентин Пикуль, Юлиан Семенов, Аркадий и Борис Стругацкие, многие другие творческие личности. «Хотелось представить людей, которые во многом определили мою жизнь, такими, какими они были на самом деле, без литературных мифов».

Тема Бедкера не закончена.

Вот что рассказывал автор о своем замысле критику В. Ларионову.

«В принципе, Бедкер должен состоять из трех частей. Первая – «Люди и книги» – уже издана, пусть и в неполном виде. Вторая часть будет посвящена алкоголю. Слишком много друзей, слишком много значительных личностей погибло на моих глазах, не справившись с Зеленым Змием. Слишком многие могут погибнуть. Я хочу рассказать об алкоголе в литературе – на примере своем, своих друзей. Думаю, это нужно. Алкоголики сами не спасаются. Я ведь и сам пропустил через себя мутный поток алкоголя, прежде чем

самостоятельно дошел до понимания главного кантовского императива. Наконец, третья часть – основной инстинкт, потому что живая литература (а точнее, жизнь) на нем и замешана. Я не собираюсь скрывать темных сторон даже собственной жизни. Неважно, будет ли кто-то на меня обижаться. Я не из тех наивных людей, которые путают истину с правдой».

В 2001 году Геннадий Прашкевич для издательства «Вече» написал два больших биографических сборника – «Самые знаменитые поэты России» и «Самые знаменитые ученые России». Выбор издательства оказался удачным: Прашкевич очень хорошо знает отечественную поэзию, прямо скажем, и сам пишет замечательные стихи, и науке он не чужд, дружен со многими известными учеными в новосибирском Академгородке и за его пределами. Книги энциклопедического характера, конечно, своим форматом не дают автору той вольницы и свободы, с какой Геннадий Мартович, к примеру, писал «Адское пламя» и «Бедекер». Но возможность создать подробный биографический очерк все равно очень привлекательна.

И, набравшись такого своеобразного опыта, Прашкевич, наконец, приступил к работе над историей русской советской фантастики.

«На создание «Красного сфинкса» меня подвигнуло торжество трэша, бессмысленные пересказы чужих сюжетов, отчуждение от науки, агрессивное невежество многих совре-

менных авторов. Поначалу появлялись предисловия к сборникам, например, к сборнику повестей любимого мною Сергея Беляева, вышедшему в Ташкенте. Затем отвлечения в таких вещах, как «Спор с дьяволом», или в отдельных главах «Малого Бедекера», или в книге «Адское пламя». Когда Саша Бирюков, мой близкий друг, магаданский писатель, начал работать с архивами НКВД и МГБ, я узнал поразительные детали трагических судеб А. Чайнова, С. Буданцева, В. Итина, А. Платонова, Бруно Ясенского, В. Пальмана, С. Снегова, многих других советских писателей, прошедших через сталинские лагеря. Параллельно я исследовал судьбы вполне, казалось бы, благополучные – А. Толстого, М. Шагинян, Ю. Долгушина, В. Немцова, А. Казанцева, Кира Булычева; подружился с Г. И. Гуревичем, В. Д. Михайловым, Димой Биленкиным, Евгением Войскунским, Ольгой Ларионовой, многими другими».

С давних пор меня часто поражало такое явление: в серьезных справочных книгах, например, в той же «Большой Советской Энциклопедии» в большинстве статей о зарубежных выдающихся личностях фактологическая картина обычно четкая и исчерпывающая – точные даты и места рождения и смерти, этапы биографии, списки литературы. Если же речь заходит о российских деятелях, особенно живших ранее 19-го века, даже год рождения иногда приблизительный, а то и просто написано – где, когда родился, неизвестно. А ведь были случаи фальсификации. Например, после ре-

билитации 1956 года родственникам репрессированных часто выдавали справки с неправильной датой смерти. Простой пример. В «Краткой литературной энциклопедии» указана дата смерти Вивиана Итина 14 декабря 1945 года. И лишь в 1990 году дочь Итина получила из КГБ письмо, в котором было сказано: «Приговор приведен в исполнение 22 октября 1938 года в Новосибирске».

По собственному опыту знаю, как непросто иногда найти какие-то подробности жизни того или иного автора. «Мы ленивы и любопытны». А вот к Прашкевичу эти слова неприменимы. Он и любопытен и трудолюбив. И с радостью делится им узанным с окружающими. В работе над историей русской советской фантастики ему пришлось изучить огромное количество подлинных документов, перечитать массу старых забытых книг и журналов, вести обширную переписку с родственниками писателей, со знатоками и исследователями.

Но дело того стоило!

После выхода первого издания книги некоторые критики выдвигали претензию, вот, мол, автор не высказывает своего отношения к героям книги. Еще как высказывает! Выбором героев. (В книге нет случайных писателей, это несомненная история русской советской фантастики.) Короткими, но меткими характеристиками. Подбором цитат. Конечно, здесь нет таких емких и убийственных фраз, какие встречаются в «Адском пламени», вроде: «Страшный сон: все

фантастические книги мира написаны Владимиром Немцовым или Андреем Столяровым». Но ведь и жанр книги не тот!

Еще одной придиркой было то, что в книге слишком много цитат.

Думаю, никто не усомнится, что таланта и мастерства Прашкевича достало бы для того, чтобы изложить большинство цитируемого в «Русском сфинксе» своими словами. Но зачем? Ведь ясно, что о событиях, которые происходили в давние времена – до рождения Геннадия Мартовича, – он не может говорить, как современник и наблюдатель. Значит, источником сведений должны служить наблюдения именно современников. Все цитаты, приводимые писателем, несомненно, несут отпечаток, некую атмосферу прошедших лет, дают глубокую дополнительную информацию. И можно только поражаться, сколько пришлось поработать Прашкевичу с источниками, чтобы представить жизни русских советских фантастов емко, красочно, убедительно. Ведь выбор цитат, представленных в книге, не случаен. Это не свалка разнообразнейших сведений, это точная, выверенная подача информации. Цитаты работают на раскрытие образа жизни, на иллюстрацию творчества авторов, на движение фантастической мысли.

После работы над «Красным сфинксом», наверное, следовало бы замахнуться на историю мировой фантастики. Если за рубежом подобные исследования не раз издавались, то

на русском языке ничего такого нет. И в некотором смысле Геннадий Прашкевич занялся именно этим. Но опять же по-своему. Он все любит делать по-своему. На этот раз он написал ряд подробных биографических книг, посвященных отдельным авторам. Причем авторам знаковым, которые внесли вклад именно в мировой фонд фантастики. Судите сами: Жюль Верн, Герберт Джордж Уэллс, Джон Рональд Руэл Толкин, Рэй Брэдбери, Станислав Лем, Аркадий и Борис Стругацкие. Шесть книг, три из них были написаны в соавторстве (с С. Соловьевым, В. Борисовым, Д. Володихиным), но организующим и направляющим (и при выборе авторов, и при обсуждении основного направления) был все-таки сам Геннадий Мартович Прашкевич, свидетельствую это, как один из помощников и соавторов писателя.

Это очень разные книги, потому что они об очень разных людях.

Да, все они писали фантастику, можно сказать, создавали ее в целом или на отдельных направлениях, но, опять же, по-разному. И Прашкевич в каждом случае пытался найти главный, самый важный импульс: что побуждало того или иного автора обращаться именно к тем-то и тем-то невероятным событиям, что им двигало, чего он страшился и чему радовался.

А еще мне всегда интересно: что нового напишет Геннадий Мартович?

Потому что заранее известно – это будет не похоже на все,

что он написал раньше, как бы это ни называлось: фантастика, реализм, публицистика, поэзия. Удивительное непостоянство, но именно оно больше всего и привлекает в творчестве Геннадия Прашкевича.



# От автора

*Первое и второе издание «Красного сфинкса» вызвало множество откликов в печати. Не буду останавливаться на тех, кто положительно оценивал работу автора – таких преобладающее большинство. Все же остались вопросы, ответить на которые необходимо.*

*Первое. Почему выбран именно такой ряд писателей?*

*Ответ прост. Автор, сам не в малой степени фантаст, убежден, что именно указанные писатели внесли наиболее существенный вклад в русскую советскую фантастику, неважно, издали они за свою жизнь одну фантастическую книгу, как Вивиан Итин, или отличались завидной работоспособностью, как Владимир Немцов или Кир Булычев. Возможно, вклад в отечественную фантастику таких писателей как Леонид Платов или В. Г. Тан-Богораз меньше, чем вклад Александра Беляева или братьев Стругацких, но вовсе не для тех, кто вошел в современную науку или литературу благодаря книгам именно Платова или Тана-Богораза. Разумеется, можно сожалеть об отсутствии очерков, посвященных, скажем, творчеству Вячеслава Пальмана или Севера Гансовского, но общую картину развития русской советской фантастики это не искажает, чего нельзя было бы сказать, отсутствуя в книге очерки о таких писателях как Илья Эренбург или Андрей Платонов.*

*Второе. Некоторые рецензенты остались недовольны слишком уж объективистским, на их взгляд, отношением автора даже к тем писателям, которых он прекрасно знал, с которыми близко общался в течение многих лет. Отвечу, личностные оценки я предпочитаю давать в таких работах как «Малый бедкер по НФ, или Книга о многих превосходных вещах» или «Адское пламя». Они и пишутся для этого. Что же касается «Красного сфинкса», то такая книга должна давать как можно более объективную панораму жанра. И узнавать о том или ином писателе, на мой взгляд, предпочтительнее по его собственным воспоминаниям и по словам его современников. Да, писатели в своих личных дневниках часто недоговаривают или преувеличивают, но лучше пользоваться все же их дневниками, чем сведениями, поставленными нам популяризаторами более поздних времен.*

*И третье. О цитировании. Некоторым критикам оно показалось излишне обильным. Но автор так не думает. Современные рецензенты (и читатели) плохо знают не просто Одоевского или Брюсова, они и романы братьев Стругацких относят уже ко вчерашнему дню, а значит, не перечитывают. Напомнить страницы лучших отечественных фантастических книг – дело чрезвычайно полезное. Возможно, оно подвигнет хотя бы некоторых читателей вернуться к книгам, о которых рассказывает автор. Так что сравнение «Красного сфинкса» с хрестоматией (Дмитрий Володихин) воспринимаю как похвалу.*

*Невозможно написать такую большую книгу без помощи верных друзей, знающих и любящих жанр, всегда готовых прийти на помощь. Приношу самую искреннюю благодарность Юрию Шевеле (Киев), Владимиру Ларионову (Санкт-Петербург), Владимиру Борисову (Абакан), Александру Етоеву (Санкт-Петербург), Алексею Гребенникову (Новосибирск), и конечно, моему верному и незаменимому другу и помощнице Лидии Киселевой, а также многим и многим, поддерживавшим меня в процессе работы.*

**Владимир Федорович Одоевский**



Последний представитель старинного княжеского рода

Одоевских. Родился 30 июля (11 августа по новому стилю) 1803 года (по другим сведениям, 1804) в Москве.

В 1822 году окончил Благородный пансион при Московском университете. Свободно владел французским, немецким, итальянским, английским, испанским языками, читал на церковно-славянском, латинском, древнегреческом. Служил по ведомству иностранных исповеданий, редактировал (совместно с Ф. Заблоцким-Десятовским) «Журнал министерства внутренних дел». Известный судебный деятель и литератор А. Ф. Кони, в молодости знавший князя, так писал о нем: «Одоевский всю жизнь стремился к правде, чтобы служить ей, а ею – людям. Отсюда его ненависть к житейской и научной лжи, в чем бы она ни проявлялась; отсюда его отзывчивость к нуждам и бедствиям людей и понимание их страданий; отсюда его бедность и сравнительно скромное служебное положение, несмотря на то, что он носил древнее историческое имя, принадлежа к старейшим из Рюриковичей и происходя от князя Михаила Черниговского, замученного в 1286 году в Орде и причисленного церковью к лику святых».

Первый литературный опыт Одоевского – «Химикант Вильгельм (Из переписки двух приятелей)» – появился в 1920 году в журнале «Благонамеренный». В течение ряда лет сотрудничал с самыми известными изданиями того времени. Среди них «Вестник Европы», «Сын отечества», «Московский телеграф», «Урания», «Литературная газе-

та», «Атений», «Северные цветы», «Альциона», «Библиотека для чтения», «Московский наблюдатель», «Современник», «Северная пчела», «Отечественные записки», «Русский архив», «Голос», «Русская старина». В 1824–1825 годах вместе с Вильгельмом Кюхельбекером издавал альманах «Мнемозина», где печатались, кроме самих издателей, А. Пушкин, А. Грибоедов, Е. Баратынский, Н. Языков. Журналист и писатель Николай Полевой вспоминал позже: «Там были неведомые до того взгляды на философию и словесность. Многие смеялись над «Мнемозиною», другие задумывались».

В 1823 году совместно с Д. В. Веневитиновым организовал «Общество любомудрия» с целью создания оригинальной отечественной философии. «Они – (члены Общества, – Г. П.) – собирались *тайно*, – вспоминал один из «любомудров» А. И. Кошелев, – и об его существовании мы *никому* не говорили. Членами его были: кн. Одоевский, Ив. Киреевский, Дм. Веневитинов, Рожалин и я. Тут господствовала немецкая философия, т. е. Кант, Фихте, Шеллинг, Окен, Геррес и др. Тут мы иногда читали наши философские сочинения; но всего чаще и по большей части беседовали о прочтенных нами творениях немецких любомудров. Начала, на которых должны быть основаны всякие человеческие знания, составляли преимущественный предмет наших бесед; христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для нас, любомудров. Мы особенно высо-

ко ценили Спинозу, и его творения мы считали много выше Евангелия и других священных писаний. Мы собирались у кн. Одоевского в доме Ланской (ныне Римского-Корсакова в Газетном переулке). Он председательствовал, а Д. Веневитинов всего более говорил и своими речами часто приводил нас в восторг. Эти беседы продолжались до 14 декабря 1825 года, когда мы сочли необходимым их прекратить, как потому, что не хотели навлечь на себя подозрение полиции, так и потому, что политические события сосредоточивали на себе все наше внимание. Живо помню, как после этого несчастного числа князь Одоевский нас созвал и с особенной торжественностью предал огню в своем камине и устав, и протоколы нашего Общества любомудрия». Впрочем, долго еще Одоевского мучили ужасные сны, в которых явившемуся его арестовать полицейскому офицеру он красноречиво доказывал всю пользу своей особы и приводил многие примеры своей добросовестности».

В альманахе «Мнемозина» была напечатана и известная аллегория Одоевского под названием «Старики, или Остров Панхай» – история о необычном острове, на котором живут старцы-младенцы. «Одни старцы, – с присущим ему юмором комментировал аллегорию Одоевского А. Ф. Кони, – с чрезвычайной важностию перекидывают друг другу пестрые мячики, и игра эта называется светскими разговорами. Другие старцы окружают дерево с красивыми, но гнилыми плодами, к которым каждый из них лезет, изгибая спину, отталкивая



одних и хватаясь за других, рукоплеща достигшим доверху и немилосердно колотя упавших. Подводя к этому дереву юношей и показывая растущие на нем плоды, старцы-младенцы уверяют, что плоды чрезвычайно вкусны и составляют единственную цель человеческой жизни, а ее лучше всего можно достигнуть перекидыванием пестрого мячика».

Писал сказки для детей, некоторые до сих пор переиздаются.

Назидательность сказок Одоевского всегда густо замешана на практичности.

«Между тем Рукодельница воду процедит, в кувшины нальет, да еще какая затейница: коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее угольков да песку крупного насыплет. Вставит ту бумагу в кувшин да нальет в нее воды, а вода-то знай проходит сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная». Такой подход: учить играя – оказался очень ко времени. В сказке «Городок в табакерке», чрезвычайно популярной, Одоевский, например, рассказал не только о приключениях маленького героя, но и – попутно – о законах перспективы... о пользе снегов, покрывающих поля... о внутреннем устройстве часов... о вреде привыкания к некоторым поговоркам... и так далее, и так далее.

Друзья поражались необыкновенной широте интересов Одоевского.

Привлекали князя химия и алхимия, магия, музыка, ку-

линария, педагогика, медицина и философия. «Способность все усложнять, – писал Д. В. Григорович, – отражалась даже в устройстве его квартиры; посередине большой гостиной Румянцевского музеума, когда он был там директором, помещался рояль; к нему с одного боку приставлялись ширмы, обратная их сторона прислонялась к дивану, обставленному столиками и стуликами разного фасона; один бок дивана замыкался высокою жардиньеркой; несколько дальше помещался большой круглый стол, покрытый ковром и окруженный креслами и стульями. От входной двери шли опять ширмы, отделявшие угол с диваном, этажерками и полочками по стенам. Гостиная представляла совершенный лабиринт; пройти по прямой линии из одного конца в другой не было никакой возможности; надобно было проходить зигзагами и делать повороты, чтобы достигнуть выходной двери...

Любовь к науке и литературе дополнялась у князя Одоевского любовью к музыке; но и здесь его преимущественно занимали усложнения, трудности контрапункта, изучение древних классических композиторов. Владая небольшим состоянием, он израсходовал значительную сумму денег на постройку громадного органа, специально предназначенного для исполнения фуг Себастиана Баха, отчего и дано было ему название «Себастианон». Известный историк русской литературы М. Н. Лонгинов, всюду поспешавший и везде находивший повод к глумлению, не замедлил перекрестить «Себастианон» в «Савоську»...

Особенною сложностью отличалось также у князя Одоевского кулинарное искусство, которым он, между прочим, гордился. Ничего не подавалось в простом, натуральном виде. Требовались ли печеные яблоки, они прежде выставлялись на мороз, потом в пылающую печь, потом опять морозились и уже подавались вторично вынутые из печки; говядина прошиповывалась всегда какими-то специями, отымавшими у нее естественный вкус; подливки и соусы приправлялись едкими эссенциями, от которых дух захватывало. Случалось некоторым из гостей, особенно близким хозяину дома, выражать свое неудовольствие юмористическими замечаниями; князь Одоевский выслушивал нападки, кратко улыбаясь и таинственно наклоняя голову...»

Разумеется, увлечения Одоевского влияли на его произведения.

«У графини Б. было много гостей, – так начинается фантастический рассказ «Два дни в жизни земного шара». – Была полночь, на свечах нагорело, и жар разговоров ослабевал с уменьшающимся светом: уже девушки перетолковали обо всех нарядах к будущему балу, мужчины пересказали друг другу обо всех городских новостях, молодые дамы перебрали по очереди всех своих знакомых, старые предсказали судьбу нескольких свадеб; игроки рассчитались между собой и, присоединившись к обществу, несколько оживили его рассказами о насмешках судьбы, произвели несколько улыбок, несколько вздохов, но скоро и этот предмет истощил-

ся. Хозяйка, очень сведущая в светском языке, на котором молчание переводится скукою, употребляла все силы, чтобы расшевелить болтливость усталых гостей своих; но тщетны были бы все их усилия, если бы нечаянно не взглянула она в окно. К счастью, тогда комета шаталась по звездному небу и заставляла астрономов вычислять, журналистов объявлять, простолюдинов предсказывать, всех вообще толковать о себе. Но никто из всех господ не был ей столько обязан как графиня Б. в это время: в одно мгновение, по милости графини, комета соскочила с горизонта прямо в гостиную, пробралась сквозь невероятное количество шляп и чепчиков – и была встречена также невероятным количеством разных толкований, и смешных и печальных. Одни в самом деле боялись, чтобы эта комета не напроказила, другие, смеясь, уверяли, что она предзнаменует какую-то свадьбу, такой-то развод и проч. и проч. «Шутите, – сказал один из гостей, который век свой проводил в свете, занимаясь астрономией (для оригинальности), – шутите, а я помню то время, когда один астроном объявил, что кометы могут очень близко подойти к Земле, даже наткнуться на нее, – тогда было совсем не до шуток...»

Иронией, но и волнением за судьбу человечества пронизаны философские диалоги и повести книги Одоевского «Русские ночи» (закончена в 1834 году, опубликована только через десять лет). «Давно уже аравийские песчаные степи обратились в плодоносные пажити Мрачной поэзии, – читаем

мы в «Последнем самоубийстве», – давно уже льды севера покрылись туком земли; невероятными усилиями химии искусственная теплота живила царство вечного холода... но все тщетно: протекли века и животная жизнь вытеснила растительную, слились границы городов, весь земной шар от полюса до полюса обратился в один обширный, заселенный город, в который перенеслись вся роскошь, все болезни, вся утонченность, весь разврат, вся деятельность прежних городов; но над роскошным градом вселенной тяготела страшная нищета и усовершенствованные способы сообщения разносили во все концы шара вести лишь об ужасных явлениях голода и болезней; еще возвышались здания; еще нивы в несколько ярусов, освещенные искусственным солнцем, орошаемые искусственной водою, приносили обильную жатву, но она исчезала прежде, нежели успевали собирать ее; на каждом шагу в каналах, реках, воздухе везде теснились люди, все кипело жизнью, но жизнь умерщвляла сама себя».

Не правда ли, проблема увидена верно?

«У враждебной человеку силы, которая действует ночью, есть две глубокие и хитрые мысли, – иронизировал Одоевский. – Во-первых, она старается всеми силами уверить человека, что она не существует, и потому внушает человеку все возможные средства забыть о ней; а вторая – сравнивать людей между собою как можно ближе, так сплотить их, чтобы не могла выставиться ни одна голова, ни одно сердце. Карты есть одно из тех средств, которые враждебная си-

ла употребляет для достижения этой двойной цели, ибо, во-первых, за картами нельзя ни о чем другом думать, кроме карт, и, во-вторых, за картами все равны: и начальник, и подчиненный, и красавец, и урод, и ученый, и невежда, и гений, и нуль, и умный человек и глупец; нет никакого различия. последний глупец может обыграть первого философа в мире, и маленький чиновник большого вельможу. Представьте себе наслаждение какого-нибудь нуля, когда он может обыграть Ньютона или сказать Лейбницу: «Да вы, сударь, не умеете играть; вы, г. Лейбниц, не умеете карт в руки взять». Это якобинизм в полной красоте своей. А между тем, и то выгодно для враждебной силы, что за картами, под видом невинного препровождения времени поддерживаются потихоньку почти все порочные чувства человека; зависть, злоба, корыстолюбие, мщение, коварство, обман, – все в маленьком виде; но не менее того, все-таки душа знакомится с ними, а это для враждебной силы очень, очень выгодно».

Или: «Вот человек, написавший несколько томов о грибах. С юных лет обращал он внимание лишь на одни грибы: разбирал, рисовал, изучал грибы, размышлял о грибах – всю жизнь свою посвятил одним грибам. Царства рушились, губительные язвы рождались, проходили по земле, комета таинственным течением пересекала орбиту солнцев. Поэты и музыканты наполняли вселенную волшебными звуками – он, спокойный, во всем мире видел одни грибы и даже сошел в могилу с мыслию о своем предмете – счастливец».

Или повесть о портном, к горю своему заболевшем холерой. Врач, не зная, что предпринять, приказал дать этому несчастному кусочек ветчины и тот вдруг чудесным образом выздоровел. Естественно, рукой врача в медицинский журнал было занесено: «Лучшее средство против холеры – ветчина». Но сапожник, заболевший холерой, как это ни прискорбно, при абсолютно том же лечении умер. Конечно, врач тут же уточнил свою запись: «Ветчина – превосходное средство против холеры у портных, но не у сапожников».

Современники (в том числе А. С. Пушкин) в полной мере оценили и «Русские ночи», и романтические повести «Княжна Зизи» и «Княжна Мими», и сказки Одоевского, но все же в русской литературе он остался, прежде всего, как создатель фантастической утопии «4338-й год. Петербургские письма». Монархическая Россия к пятому тысячелетию со дня Рождества Христова процветает. Более того, она активно поглощает другие страны мира, заняв уже целое полушарие. О предполагаемом авторе «Петербургских писем» читателям сообщается только, что он человек не совсем обычный: он умеет с помощью месмерических опытов свободно переноситься в любую эпоху. Таким вот образом он побывал и в 4338 году от Рождества Христова, когда над миром висела вернувшаяся в очередной раз комета Вьелы. Впрочем, проницательный вологодский знаток фантастики и сам фантаст Марк Москвитин писал по этому поводу следующее: «В «Петербургских письмах» упоминается комета

Вьелы, тут невольную ошибку делает В. Ф. Одоевский. Указанную комету впервые наблюдал Мессье (1772). В 1826 году чешский астроном-любитель Вильгельм Биэла вычислил орбиту кометы и определил ее периодичность. В 1846 году комета почти на глазах астрономов неожиданно разделилась на две части. С 1852 вместо кометы с той же периодичностью стал появляться метеорный поток, названный Биэлидами. В XIX веке и он сошел на нет. Так что не могло быть указанной кометы в 4338 году». Но, думаю, это сейчас неважно.

Что провидел Одоевский, заглядывая в далекое будущее?

Чувства и душевные движения людей он считал мало изменяющимися, гораздо больше тревожила его постоянная утечка бесценной информации, скапливаемой человечеством. «Что бы мы знали о временах Нехао, даже Дария, Псамметиха, Солона, если бы древние писали на нашей бумаге, а не на папирусе или того лучше, на каменных памятниках?.. В огромных связках антиквария находят теперь лишь отдельные слова или буквы, – сообщает читателям посланец из грядущего, – и они-то служат основанием всей нашей древней истории». Конечно, Владимиру Федоровичу в голову не могло прийти, что когда-нибудь в России появится академик А. Т. Фоменко и беспощадно посягнет на все, что казалось Одоевскому и его современникам неизменным.

«Мы с быстротою молнии пролетели сквозь Гималайский туннель, – сообщает читателям еще один герой романа, некий китаец, торопящийся в Петербург, – но в Каспий-



ском туннеле были остановлены неожиданным препятствием». Там, оказывается, упал аэролит, забросав землей и камнями дорогу. Ничего не поделаешь, путь пришлось продолжить на русском гальваностате. Хорошо, что у русских отношения с наукой самые близкие. «Они так верят в силу науки и в собственную бодрость духа, что для них летать по воздуху то же, что нам ездить по железной дороге, – признается китаец, пораженный необыкновенным развитием русского воздухоплавания. – Каждым отдельным гальваностатом управляет особый профессор. Весьма немногие из русских подвержены воздушной болезни; при крепости их сложения они в самых верхних слоях атмосферы почти не чувствуют ни стеснения в груди, ни напора крови – может быть, тут многое значит привычка».

Из Пекина к необыкновенным хрустальным сооружениям Северной Пальмиры на почтовом аэростате можно добраться дней за восемь. На берегах полноводной Невы раскинулись специальные хранилища тепла, там зеленеют огромные крытые сады – упорные русские давно победили холодный климат. Кстати, китаец прилетел в столицу России не просто так, у него есть безотлагательное дело: правительства разных стран должны срочно собраться и обсудить, какие меры можно предпринять против надвигающейся на Землю ужасной опасности – все той же кометы Вьелы, грозящей уничтожить и людей и животных. Впрочем, животные на Земле к 4338 году практически выродились – они стали крохотны-

ми и существуют лишь как объект моды. Никто не верит, например, что когда-то на лошадях ездили верхом. А древние изображения зверей и птиц, выполненные в их натуральную (когда-то) величину, принимают за особые символы победы человечества над природой.

«Дамы одеты великолепно, – сообщает пришелец из будущего, – большею частью в платьях из эластичного хрустала разных цветов; по иным струились все отливы радуги, у других в ткани были заплавлены металлические кристаллизации, редкие растения, бабочки, блестящие жуки. У одной из фешенебельных дам в фестонах платья были даже живые светящиеся мошки, которые в темных аллеях, при движении, производили ослепительный блеск; такое платье, как говорили здесь, стоит очень дорого и может быть надето только один раз, ибо насекомые скоро умирают».

«Я увидел, что она – (одна из дам, – Г. П.) – играла на клавишах, приделанных к бассейну: эти клавиши были соединены с отверстиями, из которых по временам вода падала на хрустальные колокола и производила чудесную гармонию».

Деревья в садах покрыты экзотическими плодами, а вокруг самих деревьев стоят небольшие графины с золотыми кранами. «Гости брали эти графины, отворяли краны и без церемонии втягивали в себя содержавшийся в них, как я думал, напиток. Я последовал общему примеру: в графинах находилась ароматная смесь возбуждающих газов; вкусом они походят на запах вина и мгновенно разливают по всему орга-

низму удивительную живость и веселость, которая при некоторой степени доходит до того, что нельзя удержаться от беспрерывной улыбки. Часто люди, дотоле едва знакомые, узнают в этом состоянии свое расположение друг к другу, а старинные связи еще более укрепляются этими неподдельными выражениями внутренних чувств».

Среди членов Правительственного кабинета, возглавляемого не кем-то, а Первым поэтом, весьма влиятельной фигурой является Министр изящных искусств. Числятся в Правительственном кабинете и великие философы, и всяческие историки первого и второго классов, уверенные в том, что «история природы есть каталог предметов, которые были и будут». Кабинет первого сановника завален множеством разных книг и бумаг. «Между прочим, я видел у него большую редкость: свод русских законов, изданный в половине XIX столетия по Р.Х.; многие листы истлели совершенно, но другие еще сохранились в целости; эта редкость как святыня хранится под стеклом в драгоценном ковчеге, на котором начертано имя Государя, при котором этот свод был издан».

«В нашем полушарии, – объяснял читателям автор «Петербургских писем», – просвещение распространилось до самых низших степеней; оттого многие люди, которые едва годны быть простыми ремесленниками, объявляют свое притязание на ученость и литераторство; эти люди почти каждый день собираются у передней нашей Академии, куда, ра-

зумеется, им двери затворены, и своим криком стараются обратить внимание проходящих. Они до сих пор не могли постичь, отчего наши ученые гнушаются их сообществом, и в досаде принялись их передразнивать, завели также нечто похожее на науку и литературу, но, чуждые благородных побуждений истинного ученого, они обратили и ту и другую в род ремесла: один лепит нелепости, другой хвалит, третий продает; кто больше продаст – тот у них и великий человек; от беспрестанных денежных сделок у них беспрестанные ссоры, или, как они называют, партии: один обманет другого вот и две партии, и чуть не до драки; всякому хочется захватить монополию, а более всего завладеть настоящими учеными и литераторами; в этом отношении они забывают свою междоусобную вражду и действуют согласно; тех, которые избегают их сплетней, промышленники называют аристократами, дружатся с их лакеями, стараются выведать их домашние тайны и потом возводят на своих мнимых врагов разные небылицы».

Правда, науке это не мешает. Наука на высоте. Даже «нашли, наконец, способ сообщения с Луной». Правда, «она необитаема и служит только источником снабжения Земли разными житейскими потребностями, чем отвращается гибель, грозящая Земле по причине ее огромного народонаселения. Эти экспедиции – (на Луну, – Г. П.) – чрезвычайно опасны. Путешественники берут с собой разные газы для составления воздуха, которого нет на Луне».

Фрагменты и заметки, дополняющие «Петербургские письма», не менее интересны.

Вот герой заказывает обед: «Дайте мне: хорошую порцию крахмального экстракта на спаржевой эссенции; порцию сгущенного азота а ля флер-д-оранж, ананасной эссенции и добрую бутылку углекислого газа с водородом». (Марк Москвитин и в этом случае заметил: вот человек просит подать ему *добрую бутылку углекислого газа с водородом*. Я из любопытства набросал химическое уравнение. Получилась впечатляющая картина: углекислый газ плюс водород дают этиловый спирт плюс воду, не правда ли? А что такое этиловый спирт плюс вода? Это же водка! Геннадий Мартович, непременно покажите эту страничку химикам. Не изобрели, сам того не зная, по наитию, князь Одоевский водку, задолго до Менделеева?» – Г. П.) Юноши и взрослые мужчины, как правило, живут на севере, стариков и детей стараются отселять на юг. Часы определяются запахами. Есть час кактуса, час фиалки, резеды, жасмина, розы, гелиотропа, гвоздики. И главное: «Увеличившееся чувство любви к человечеству достигает до того, что люди не могут видеть трагедий и удивляются, как мы могли любоваться видом нравственных несчастий, точно так же, как мы не можем постигнуть удовольствия древних смотреть на гладиаторов». А есть еще и управляемые воздушные корабли, электропоезда, пересекающие огромную империю, одежда из синтетических материалов...

«Принято считать, – отмечал поэт и исследователь отечественной фантастики Евгений Харитонов, – что ироническое определение инопланетян «зеленые человечки» родилось в США в середине 40-х годов прошлого века вместе с появлением другого «инопланетного» термина – *UFO* (*НЛО*). Но так ли это? Откроем утопическую повесть князя В. Ф. Одоевского «4338-й год. Петербургские письма». Как известно, произведение это не было завершено, и последняя часть публиковалась только в виде разрозненных фрагментов. Немало интересного мы там найдем. Например, такую загадочную фразу: «Зеленые люди на аэростате спустились в Лондон». Что это за люди? Скорее всего, просвещенный князь имел в виду все-таки прибытие пришельцев. Может, тех самых марсиан, вторжение которых спустя 63 года описал Герберт Уэллс? Во всяком случае, Владимир Федорович первым использовал образ зеленых человечков».

В 1846 году князь Одоевский был назначен помощником директора Императорской публичной библиотеки в Петербурге и заведующим Румянцевским музеем. В обязанности князю вменялся надзор за хозяйственной и казначейской частью библиотеки и непосредственное управление канцелярией, а также «исполнение тех особенных обязанностей, которые могут быть возложены на него директором».

«С тех пор, как Одоевский начал жить в Петербурге своим хозяйством, – вспоминал друживший с ним писатель и историк М. П. Погодин, – открылись у него вечера, однажды

в неделю, где собирались его друзья и знакомые – литераторы, ученые, музыканты, чиновники. Это было оригинальное сборище людей разнородных, часто даже между собою неприязненных, но почему-либо замечательных. Все они на нейтральной почве чувствовали себя совершенно свободными и относились друг к другу без всяких стеснений. Здесь сходились веселый Пушкин и отец Иакинф с китайскими, сузившимися глазками, толстый путешественник тяжелый немец барон Шиллинг, воротившийся из Сибири, и живая миловидная гр. Растопчина, Глинка и проф. химии Гесс, Лермонтов и неуклюжий, но многознающий археолог Сахаров. Крылов, Жуковский и Вяземский были постоянными посетителями. Здесь явился на сцену большого света Гоголь, встреченный Одоевским на первых порах с дружеским участием. Беспристрастная личность хозяина действовала на гостей, которые тут становились и добрее, и снисходительнее друг к другу... Музыка оставалась любимым предметом его занятий, трудов и бесед, – и было с кем ему делить свои мысли об этом дорогом для него искусстве: Глинка был самым близким к нему человеком, граф Михаил Юрьевич Виельгорский, брат его Матвей Юрьевич, Даргомыжский, а после Серов, знатоки, любители и сочинители были постоянными собеседниками. «Жизнь за царя» разыграна в его кабинете. «Руслан и Людмила» также...»

«Личная жизнь князя Одоевского, – вспоминал А. Ф. Кони, – представляла те же привлекательные черты, как и его

жизнь общественная. Женатый на сестре благородного деятеля по освобождению крестьян графа Ланского, которая была старше его на несколько лет, он нашел в ней существо, оберегавшее его с нежною заботливостью, в которой материнская тревога соединялась с сочувствием и пониманием истинной спутницы жизни. Более чем скромный по средствам и обстановке дом Одоевского в Петербурге отличался теплым и разумным гостеприимством, соединяя под своим кровом, наряду с представителями высшего круга, все, что было выдающегося в области науки, искусства и литературы. Вечером в приемные дни вновь приглашенному приходилось проходить через гостиную, где вели беседу подчас чопорные светские знакомые княгини, но едва отворялась дверь в кабинет, откуда неслись клубы табачного дыма и шумные голоса, как посетитель оказывался в приветливом и внимательном кругу гостей князя, среди которых, наряду с Пушкиным, Жуковским, Гоголем, князем Вяземским, Плетневым и графом Соллогубом, виднелись оригинальные фигуры Кольцова, Белинского, Глинки и Рубинштейна, и слышались живые речи какого-нибудь путешественника или ученого, которым жадно внимал начинающий писатель-провинциал или какой-нибудь еще неизвестный изобретатель».

«В Петербурге, – вспоминал журналист и писатель И. И. Панаев, – Одоевский продолжал заниматься литературой, но не более, как дилетант. Главной целией делается служба. Убеждения и надежды его юности поколеблены. Но служ-



ба не может наполнить его и он беспокойно хватается за все для удовлетворения своей врожденной любознательности. Он занимается немножко положительными науками и в то же время увлекается средневековыми мистическими бреднями, возится с ретортами в своем химическом кабинете и пишет фантастические повести, изобретает и заказывает какие-то неслыханные музыкальные инструменты и под именем доктора Пуфа сочиняет непостижимые уму блюда и невероятные соусы; изучает Лафатера и Галля, сочиняет детские сказки под именем «Дедушки Иринея» и вдается в бюрократизм. Литератор, химик, музыкант, чиновник, черепослов, повар, чернокнижник, – он совсем путается и теряется в хаосе этих разнообразных занятий. Поддерживая связи с учеными и литераторами, он с каким-нибудь профессором физики или с математиком заводит речь о поэзии и советует ему прочесть какую-нибудь поэму; с Белинским, не терпевшим и преследовавшим все мистическое, он серьезно толкует о неразгаданном, таинственном мире духов, о видениях, и насильно навязывает ему какую-то книгу о магнетизме, уверяя его, что он непременно должен прочесть ее...»

«Когда я в первый раз был у Одоевского, – писал далее И. И. Панаев, – он произвел на меня сильное впечатление. Его привлекательная симпатическая наружность, таинственный тон, с которым он говорил обо всем на свете, беспокойство в движениях человека, озабоченного чем-то серьезным, выражение лица постоянно задумчивое, размышляю-

щее, – все это не могло не подействовать на меня. Прибавьте к этому оригинальную обстановку его кабинета, уставленного необыкновенными столами с этажерками и с таинственными ящичками и углублениями; книги на стенах, на столах, на диванах, на полу, на окнах – и притом в старинных пергаментных переплетах с писаными ярлычками на задках; портрет Бетховена с длинными седыми волосами и в красном галстуке; различные черепа, какие-то необыкновенной формы склянки и химические реторты. Меня поразил даже самый костюм Одоевского: черный шелковый вострый колпак на голове и такой же длинный до пят сюртук делали его похожим на какого-нибудь средневекового астролога или алхимика... Один раз я заехал к нему часу в восьмом вечера. В ту минуту, когда я вошел в его кабинет, он стоял у стола в вицмундире, в белом галстуке и в орденах, и держал в руке кусочек сахара, на который княгиня капала чем-то. Сахар почернел.

– Что это вы делаете, княгиня? – спросил я, улыбаясь. – Вы отравляете князя?

– Я всегда принимаю несколько капель опиума, – отвечал за нее князь, – от этого я становлюсь бодрее...»

После неоднократных ходатайств Кабинет министров принял решение перевести румянцевские коллекции в Москву для учреждения там Публичной библиотеки и музея. К 1 августа 1861 года все материалы Музея были перевезены в Москву, а 16 мая 1862 года покинул столицу и Одоев-

ский. В Москве он, будучи сенатором, одним из первых начал создавать благотворительные детские приюты и школы. К этому делу Одоевский относился как к чему-то в высшей степени естественному, не требующему поощрения. Когда великий князь Константин Николаевич представил его к награде, Одоевский ответил: «Я не могу избавиться себя от мысли, что при особой мне награде – в моем лице будет соблазнительный пример человека, который принялся за дело под видом бескорыстия и сродного всякому христианину милосердия, а потом, тем или иным путем, а все-таки достиг награды. Быть таким примером противно тем правилам, коих я держался в течение всей моей жизни; дозвоьте мне, Ваше императорское высочество, вступив на шестой десяток, не изменить им». А в статье «Недовольно» так ответил не понимающим его оппонентам: «Не один я в мире, и не безответен я перед своими собратиями – кто бы они ни были: друг, товарищ, любимая женщина, соплеменник, человек с другого полушария. Мысль, которую я посеял сегодня, взойдет завтра, через год, через тысячу лет».

Был награжден орденами: Анны 1-й и 2-й степени, украшенными императорскою короною, Станислава 1-й и 2-й степени, Белого Сокола командорской степени от Саксон-Веймарского герцога. Имел чин титулярного советника.

Прекрасный музыкант, сам писавший музыку, Одоевский оставил в своем наследстве целый ряд сочиненных им вальсов, хоралов, прелюдий, колыбельных. Он написал музыку

на слова Пушкина «Дарует небо человеку», к стихотворению Н. А. Некрасова «Прости», к басне Крылова «Квартет». Участвовал в создании Русского музыкального общества и Московской консерватории. Издал «Музыкальную грамоту для немусыкантов» и «Музыкальную азбуку для народных школ». В 1869 году на открытии съезда археологов ученики Московской консерватории должны были под его руководством исполнять древние русские церковные напевы. К сожалению, 27 февраля (11 марта) того же года Владимир Федорович Одоевский умер.

Погребен на кладбище Донского монастыря.

## *СОЧИНЕНИЯ*

Пестрые сказки с красным словцом, собранные Иринею Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным. – СПб., 1833.

Сегелиель, или Дон-Кихот XIX столетия: Сказка для старых детей: Отрывок из 1 части. – СПб., 1838.

4338 год. Петербургские письма. – Утренняя заря. – 1840.

Сочинения: Ч. 1–3. – СПб., 1844.

Сказки (и сочинения) для детей. – М., 1871.

Русские ночи. – М., 1913.

4338 год: Петербургские письма. – М.: Огонек, 1926.

Романтические повести. – Л., 1929.

Русские ночи. – Л.: Наука, 1975. – (Лит. памятники).

Сочинения. Т. 1–2. – М.: Худож. лит., 1981.

Пестрые сказки; Сказки бабушки Ирины. – М.: Худож. лит., 1993.

Пестрые сказки. – М.: Наука, 1996. – (Лит. памятники).

Русские ночи. – М., 2002.

## ***ЛИТЕРАТУРА***

*Пятковский А. П.* Князь В. Ф. Одоевский: Литературно-биографич. очерк в связи с личными воспоминаниями. – СПб., 1880.

*Сумцов Н. Ф.* Князь В. Ф. Одоевский. – Харьков, 1884.

*Языков Д. М.* Князь В. Ф. Одоевский. – 1903.

*Лезин Б. А.* Очерки из жизни и литературной деятельности кн. В. Ф. Одоевского. – Харьков, 1907.

*Сакулин П. Н.* Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Мыслитель. Писатель. – М., 1913.

*Проскурина Ю. М.* Э.Т. А. Гофман и Одоевский: (К вопросу о нац. специфике фантастики). – Уч. зап. Тюменского пед. Ин-та: Сб. 118, вып. 2. – 1970.

*Виргинский В. С.* В. Ф. Одоевский. Естественнонаучные взгляды. – М., 1975.

*Ступель А. М.* В. Ф. Одоевский. – Л., 1985.

*Голубева О. Д.* В. Ф. Одоевский. – СПб., 1995.

*Вацура В.* София: Заметки на полях «Косморамы» В.

Ф. Одоевского. – Новое литературное обозрение. – 2000. –  
№ 2.

**Осип Иванович Сенковский**  
**(Барон Брамбеус)**





Знаменитый журналист, писатель, ученый-востоковед. Родился 19 марта (31 марта по новому стилю) 1800 года в имении Антоколон близ Вильни.

Учился в Виленском университете. В годы учебы активно посещал «Towarzystwo szubrawcow» («Общество плутов»), которым руководил профессор филологии А. А. Снядецкий. Товарищество издавало юмористический листок «Уличные ведомости» («Wiadomości Burkowe») – в нем в 1816 году Сенковский выступил с первыми своими статьями. Под руководством профессора Готфрида Гроддека с блеском занимался классической древностью, арабским, еврейским, другими восточными языками. Позже он так рассказал об этом в присутствии ему бесцеремонном стиле. «Мой наставник в греческой литературе, Гроддек был один из ученейших немцев, мастер на сводки, на разночтения, известный в греко-латинском мире комментатор и издатель нескольких трагедий Софокла и Еврипида. Эрудиция его казалась нам еще громаднее его горба. Несмотря на изысканный педантизм, чтения его приносили нам большую пользу, осваивая с текстами классических поэтов. Первою нашей любовью был Гомер. Мы обожали этого слепого нищего старика, мы проводили целые ночи в обществе несравненного ионийского бродяги, слушая его бойкие живописные рассказы. С восторгом, но без восторженности, без ученых преданий, без теорий, беседовали мы с ним об этом странном мире, из которого прикочевал он петь нам свои уличные рапсодии. Счастливые вре-

мена, счастливые нравы, сладкие воспоминания!»

В мечтах своих Сенковский в те годы постоянно обращался к Востоку – к Нубии, Сирии, Кордофану. Русская действительность отталкивала его. Он во многом не принимал стихов Пушкина и Лермонтова, Гоголь с его дегенеративными героями был ему противен, он морщился от такой литературы, предпочитая не морозы и снег, а солнце и долгую музыку песков. В 1819 году, скопив некоторое количество денег и прибавив себе возраст, Сенковский самостоятельно отправился в путешествие по Турции и Египту. Это было и трудно и опасно, но в Константинополе по рекомендации барона Строганова он был причислен к русской миссии, что дало ему возможность побывать, наконец, в Сирии, Египте и Нубии.

«Я и теперь вижу перед собою колоссальные очерки пышных громад, распространяющихся тройною каменной цепью вдоль обожженной Сирии, где протек один из мучительнейших годов моего бытия, – писал позже Сенковский. – С той жадностью к наукам, с той доверенностью к своим силам, с тем презрением здоровья и упрямством в достижении возмечтанной цели, которые легко себе представить в неопытном человеке лет двадцати, я некогда бросился без проводника и пособия в этот неизмеримый чертог природы – один из великолепнейших чертогов, воздвигнутых ею на земле в ознаменование своего могущества, не рассуждая об опасности не выйти из страшного лабиринта заоблачных вершин,

на которых можно замерзнуть среди лета, и раскаленных пропастей, где органическая жизнь жарится в самой страшной духоте, какую только солнце производит. Ограниченные средства повелевали мне узнавать скоро все, что я мог узнать в том краю, и не забывать ничего, однажды приобретенного памятью. С потом чела перетаскивал я свои книги с одной горы на другую – книги были все мое имущество – и рвал свое горло в глуши, силясь достигнуть чистого произношения арабского языка, которого звучность в устах друза или бедуина, похожая на серебряный голос колокольчика, заключенного в человеческой груди, пленяла мне ухо новостью и приводила в отчаяние своей неподражательностью. Уединенные ущелья Кесревана, окружая меня колоннадою черных утесов, вторили моим усилиям; я нередко сам принужден был улыбнуться над своим тщеславием лингвиста при виде, как хамелеоны, весело перебегающие по скалам, останавливались подле меня, раскрывая рот, и дивились пронзительности гортанных звуков, которые с таким напряжением добывал я из глубины своих легких».

Сложный неуживчивый характер Сенковского, неперемное желание увидеть в каждом предмете нечто непривычное, не примелькавшееся не могло не сказаться на отношении писателя к древностям. Он воспринимал их каким-то своим внутренним зрением и был уверен в своей правоте. «Смешно удивляться безобразной и бездушной их величине, – писал он о пирамидах, например. – Нынешний египет-

ский паша в 6 месяцев провел канал из Александрии в Нил, длиною в 14 французских миль и в 144 фута ширины, с соразмерною глубиною. Он приказал собрать для этой работы 300 000 арабов, из которых 17 500 человек погибли в канале от усталости, голода, непогоды и других неизбежных случаев. Таким образом построены и пирамиды».

Что же касается современности, в этом вопросе Сенковский проявлял еще более жесткое расхождение с общепринятыми мнениями. «Два союзные флота, – писал он о войне греков и турков, весьма беспокоившей всю Европу, – поссорились между собою в море за конфискованный на одном хиосском судне кофе, которым они не могли дружески поделиться. Эскадра Специи и Гидры, будучи многочисленнее и почитающая себя старшей, присвоила себе сие любимое на Востоке произведение, а обиженные искириоты, следуя без сомненья примеру предка своего Ахиллеса, отделились от союзников и остались на родимой стороне, предоставляя несчастному жребию сих новых Агамемнонов, которые, как другую Бризеиду, несправедливо отняли у них с лишком 200 зембиллов кофе».

В 1821 году Сенковский вернулся в Санкт-Петербург.

Активно изучал монгольский, китайский, маньчжурский и корейский языки, в которых быстро достиг больших успехов. Английский, французский, немецкий, итальянский и новогреческий Сенковский знал ничуть не хуже польского и русского. Ф. В. Булгарин (тоже в свое время входивший

в «Товарищество шубравцов») ввел молодого исследователя в среду столичных литераторов. Восточные повести, переводы, научные статьи и рецензии Сенковского начали появляться в журналах «Северный архив», «Сын отечества», в альманахах «Полярная звезда», «Северные цветы», в газете «Северная пчела». О сказке «Витязь буланого коня» А. С. Пушкин восхищенно писал А. А. Бестужеву (8 февраля 1824 года): «Арабская сказка – прелесть; советую тебе держаться за ворот этого Сенковского».

В декабре 1821 года Осипа Ивановича Сенковского приняли в Санкт-Петербургское Общество любителей русской словесности, а в возрасте двадцати двух он лет был определен ординарным профессором кафедры восточных языков в Санкт-Петербургском университете, отказавшись от чтения лекций по той же специальности в Виленском университете. Только характер, совершенно к тому времени невыносимый, помешал ему сделать еще более впечатляющую карьеру.

«Я никогда не видел, – вспоминал один из слушателей молодого профессора, – чтобы Сенковский заходил в профессорскую комнату, а если ему случалось приезжать до начала лекции, то он выжидал звонка, сидя внизу, в университетском правлении. На всех своих товарищей он смотрел как на лиц совершенно ему незнакомых и недостойных внимания. Даже встречая на экзаменах своего земляка профессора Мухлинского, Сенковский едва достаивал его парой фраз

и не иначе, как на французском языке. Как бы желая показать свое пренебрежение ко всему, что относилось до университета, он позволил себе однажды такую, вовсе не остроумную, выходку против должности инспектора студентов. При аудитории служил сторожем едва ли не с самого основания университета старый, едва передвигающий ноги отставной солдат Платон. Не устаивая беседой своих товарищей, профессор Сенковский нередко вступал в разговор с этим сторожем и однажды, спросив его, давно ли он состоит при университете, удивился, отчего по сие время не произвели его в инспектора».

Непомерное честолюбие мешало нормальным отношениям Сенковского с окружающими. Всеми способами он стремился к скорой славе и богатству, забывая невольно, что Господь лучше нас знает, в чем мы нуждаемся. Как указано в одной старой энциклопедии: «несмотря на все его желание быть приятным высшему начальству, им – (Сенковским, – Г. П.) – оставались обыкновенно недовольны». К примеру, он представил по начальству «Проект положения для Отделения восточных языков и словесностей», проект интересный, но явно несвоевременный (осуществленный только через двадцать два года, когда Осип Иванович уже вышел из университета). Изготовил специальную «Карманную книгу для русских воинов в турецких походах». И многое другое, что, к сожалению, не получило развития.

«Если допустить, – писал один из биографов писателя, –

что Бог может создать человека для того, чтобы он делал зло из любви к аду, чтобы его движения, действия, мысли всегда были пропитаны исключительно желчью, чтобы каждое содеянное им зло приносило ему радость, и при всем том образованного и гениально остроумного, то пальму первенства во всей Европе получил бы Иосиф Сенковский».

Жажда славы приводила молодого профессора к созданию самых невероятных гипотез. Например, он утверждал, что летопись Нестора написана на польском языке, а «Илиада» и «Одиссея» – на белорусском наречии, а древний китайский язык отличается от еврейского всего лишь интонацией. Что касается литературы и журналистики, тут он вообще беспощадно и жестоко издевался над всем, что попадало в поле его зрения, и высмеивал любого, кто казался ему этого достойным. Он постоянно пользовался псевдонимами, среди них самые известные – Барон Брамбеус, Тютюнджу-оглы, Публик-султан-багатур, Брамбеус-Ага-Багадур, А. Белкин, П. Снегин, Т. – О., О.О.О., Се1, С.С.С., Б.Б., Осип Морозов, Карло Карлини, Женихсберг, Байбаков, Биттервасер. Кажется, он единственный, кто пользовался даже тройным псевдоним – Хохотенко-Хлопотунов-Пустяковский.

И в литературе он оставался дерзким.

Он не любил мелочей. Он писал густыми красками.

В повести «Большой выход у Сатаны» «... Сатана вынул из гробницы огромную глыбу квасцов – ибо он никакого сахара, даже и свекловичного, даже и постного, терпеть не мо-

жет – и положил ее в урну; налил из одного котла чистого смоленского дегтю, употребляемого им вместо кофейного отвара, из другого подбавил купоросного масла, заменяющего в аду сливки, и черную исполинскую лапу свою погрузил в бочку, чтобы достать пачку сухарей. Но в аду и сухари не похожи на наши: у нас они печеные, а там печатанные. Попивая свой адский кофе, царь чертей, преутонченный гастроном, страстно любил пожирать наши несчастные книги в стихах и прозе; толстые и тонкие различного формата произведения наших земных словесностей; томы логик, психологий и энциклопедий; собрания разысканий, коими ничего не отыскано; историй, в коих ничего не сказано; риторик, которые ничему не выучили, и рассуждений, которые ничего не доказали; особенно всякие большие поэмы – описательные, повествовательные, нравоучительные, философские, эпические, дидактические, классические, романтические, прозаические, и проч. и проч. С некоторого времени однако ж он заметил, что этот род пирожного обременял его желудок, и потому приказал подавать к завтраку только новые повести исторические, писанные по последней моде; новые мелодрамы; новые трагедии в шести, семи и девяти картинах; новые романы в стихах и романы в роде Вальтер Скотта; новые стихотворные размышления, сказки, мессенияны и баллады, – как несравненно легче первых, обильно переложенные белыми страницами, набранные очень редко, растворенные точками и виньетками и почти столь же безвредные для желуд-



ка и головы, как и обыкновенная белая бумага».

Ненавидя и презирая Францию, считая эту страну источником ужасной революционной заразы, Сенковский с большим пренебрежением отзывался о романах Жорж Санд и Виктора Гюго, хотя не гнушался время от времени выдавать некоторые их произведения, а так же произведения Оноре де Бальзака, Жюлья Женена, Вольтера и Лесажа за свои собственные.

Славу Сенковскому составили «Фантастические путешествия барона Брамбеуса».

И не зря, не зря. На мой взгляд, в этой замечательной книге угадываются истоки всех основных направлений будущей отечественной фантастики: от чисто научной до приключенческой и сказочной.

Впервые знаменитый герой Сенковского появляется в одном из фельетонов цикла «Петербургские нравы» («Мой приятель, Барон Брамбеус, шел по Невскому проспекту и думал о рифме, которой давно уже искал...»). Затем в альманахе «Новоселье» выходят «Большой выход у Сатаны» и «Незнакомка», и наконец печатаются «Фантастические путешествия». Кстати, в них он наметил основы и масштабного романа-катастрофы. В «Поэтическом путешествии по белу свету» барон Брамбеус влюбляется в некую «божественную коконницу» и в порыве любви, опрокинув в комнате жаровню, сжигает сразу десять тысяч домов, – пожар, скажем прямо, грандиозный.

Но главным было все же «Ученое путешествие на Медвежий остров».

14 апреля 1828 года, дата в романе указана точная, в сибирскую тундру, в край болот, неистового гнуса и северных оленей отправился страстный последователь известного исследователя Шамполиона (вся Европа тогда говорила о только что разгаданной тайне египетских иероглифов) – известный уже читателям барон Брамбеус. Компанию ему составил другой последователь Шамполиона – доктор Шпурцман. Трудно отделаться от впечатления, что Сенковский пародирует будущих (еще не написанных Жюлем Верном) доктора Клоубони и Жака Паганеля. «Невозможно представить себе ничего забавнее почтенного испытателя природы, согнутого дугой на тощей лошади и увешанного со всех сторон ружьями, пистолетами, барометрами, термометрами, змеиными кожами, бобровыми хвостами, набитыми соломою сусликами и птицами, из которых одного ястреба особенного рода, за недостатком места за спиною и на груди, посадил он было у себя на шапке».

Прибыв на остров Медвежий – его и сейчас легко найти на любой географической карте – путешественники открывают в массивных скалах необитаемую пещеру, стены которой густо покрыты таинственными письменами. Кстати, повесть Сенковского разбита не на главы, а на *стены*. Стена первая... Стена вторая... Стена третья... Стена четвертая... Никто на Земле не видел таких письмен и, соответственно,

не умел их читать, но для барона Брамбеуса препятствий не существовало. «Я долго путешествовал по Египту и, быв в Париже, имел честь принадлежать к числу усерднейших учеников Шампольона-Младшего, прославившегося открытием ключа к иероглифам». Неутомимый Барон Брамбеус сразу предлагает собственную систему, по которой «всякий иероглиф есть или буква или метафорическая фигура, изображающая известное понятие, или вместе буква и фигура, или не буква, не фигура, а только произвольное украшение почерка». Давая такие откровенно издевательские объяснения, барон Брамбеус приходит к не менее издевательскому выводу: «Итак, нет ничего легче, как читать иероглифы: где не выходит смысла по буквам, там должно толковать их метафорически; если нельзя подобрать метафоры, то позволяется совсем пропустить иероглиф и перейти к следующему, понятнейшему».

В итоге перед ошеломленными читателями предстает поразительная история некоей древней погибшей цивилизации.

«В 10-й день второй луны сего 11 789 года в северо-восточной стороне неба появилась большая комета». Русские писатели всегда любили обращать внимание на загадочных небесных странниц. По ходу развития сюжета зловещая комета все увеличивается и увеличивается, наводя ужас на людей. Впрочем, герой «допотопного романа» страдает не столько от ужаса перед будущим, сколько от жестокой рев-

ности. Красавица Саяна (вот они, сибирские реальности, – Г. П.) его не любит. И немудрено, немудрено. «Все наши женщины (предпотопные или ископаемые) ужасные кокотки». Только придворный астроном Шимшик отдает ясный отчет в том, что большинству земных стран грозит скорая гибель. Но Шимшик – истинный исследователь. «Комета своими развалинами, – радуется он, – едва может засыпать три или четыре области – положим, три или четыре царства; но зато какое счастье!.. мы с достоверностью узнаем, наконец, что такое кометы и как они устроены».

А влюбленный герой уязвлен муками ревности. Он не думает о судьбе царств и народов. Он видит, что «голова кометы уже не уступала величиною Луне, а хвост бледно-желтого цвета, разбитый на две полосы, закрыл собою огромную часть небесного свода». Пусть сыграна свадьба, это не умеряет страданий героя, ибо возлюбленная, став его женой, ведет себя по-прежнему ветрено. А «комета уже уподоблялась большой круглой туче и занимала всю восточную сторону неба: она потеряла свою богатую светлую оболочку и была бурого цвета, который всякую минуту темнел все более и более. Солнце, недавно возникшее из-за небосклона, уже скрывало западный свой берег за краем этого исполинского шара. Под моими ногами город гремел глухим шумом, и во многих местах возвышались массы густого дыму, в котором пылало пожарное пламя; по улицам передвигались дикие шайки грабителей, обогранных кровию, и перед лицом

опасности, увлекающей всю природу в пропасть гибели, еще с жадностью уносящих в общую могилу исторгнутое у своих сограждан имение».

Мир обречен. Он по-настоящему обречен.

«Я кричал моим людям, чтобы они скорее спасались на двор, чтобы выводили из конюшен лошадей, мамонтов, мастодонтов и сам с трепещущею Саяною стремглав бежал к лестнице, прыгая через опрокинутую утварь и уклоняясь от падающих со стен украшений».

Поздно, поздно.

Река Лена выходит из берегов.

Холодные воды со всех сторон рушатся на допотопный город.

Астроном Шимшик теряет книги и инструменты, что окончательно сокрушает его дух. Но «муж, от которого жена бежала с любовником во время падения кометы на Землю, во сто крат несчастнее всех астрономов». Герой романа доходит до того, что убивает очередного любовника Саяны. И все это на фоне самых невероятных и страшных событий. «Увидели мы заглядывающую в отверстие пещеры длинную безобразную змеиную голову, вертящуюся на весьма высокой и прямой как пень шее. Она держала в пасти человеческий труп и с любопытством смотрела на нас большими, в пядень, глазами». Гибель героев неминуема. Но на восточной стене пещеры барон Брамбеус находит еще одну запись: «Вода остановилась на одной точке и выше не поднимается».

И тут же как завершающий удар: «Я съел кокотку!»

К сожалению, в итоге барона Брамбеуса ждет горькое разочарование.

Оказывается, за древние иероглифы он принял нечто естественное, придуманное самой природой. «Это кристаллизация сталагмита, называемая у нас, по минералогии, глифическим или живописным», – объясняет обманувшимся путешественникам один ученый человек в Якутске. Доктор Шпурцман от его слов впадает в гнев, но барон Брамбеус успокаивает коллегу: «Не моя же вина, ежели природа играет так, что из ее глупых шуток выходит по грамматике Шампольона очень порядочный смысл!»

В этой издевательской фразе весь Сенковский.

Впрочем, вернувшись с острова Медвежьего, барон Брамбеус отправляется в новое, на этот раз «Сентиментальное путешествие на гору Этну» На ее вершине некий мстительный швед сбрасывает любопытного барона в кратер. Внутри пустотелой земли, в отличие от более поздних романов Жюль Верна и В. Обручева, у Сенковского все оказывается *наоборот*: приветствие там – ругательство, потолок – пол. В таком необычном мире барон Брамбеус, конечно, «избрал себе жену навыворот, устроил свое хозяйство вверх дном и прижил детей опрокидью»; а выбрался из подземного мира – через жерло извергающегося вулкана, опять же на многие годы предвосхитив французского фантаста.

И не только его. И не только в этом случае.

В своих фантастических путешествиях барон Брамбеус летает на камне, как на ядре, а имя прелестной допотопной Саяны своей необычностью и таинственностью предвосхищает чудесные имена будущих Гонгури и Аэлиты; кометы же и грандиозные потопы с легкой руки Осипа Сенковского станут со временем чуть ли не главными атрибутами бесчисленных приключенческих романов.

«На передней стене, против входной двери, – писал в 1839 году один из друзей Сенковского, – была в золотой раме огромная картина, изображавшая турецкую комнату и в этой комнате портрет (сильнейше польщенный живописцем) Осипа Ивановича в чалме и полном восточном одеянии, лежащего на массе бархатных подушек и курящего из кальяна. Под самой картиной был устроен низкий диван из бесчисленного множества сафьянных, зеленых, красных и желтых подушек. И на этих подушках полусидел полулежал сам Осип Иванович Сенковский – желто-кофейный, рябой, с приплюснутым носом, широкими губами, которым словно вторила пара небольших заспанных бело-голубых глаз с желчными, как бы шафраном выкрашенными белками. Голова великого Брамбеуса покрыта была темно-красной феской с синей кистью, а вся особа его облачена в какую-то албанскую темно-синюю куртку поверх розовой канаусной рубашки, в широчайшие, кирпичного цвета, шальвары, из-под которых виднелись носки ярко-желтых сафьянных бабушей. Да, еще забыл я сказать, в дополнение этого пестро-арлекин-

ского туалета, что шальвары опоясаны были светло-зеленою кашемировой шалью с пестрым донельзя бордюром. Левая рука барона Брамбеуса придерживала тонкий, гибкий ствол чубука, янтарный мундштук которого был у искривленно-го рта. И изо рта этого, через черные зубы, исходила струйка ароматного дыма, наполнившего комнату своим действительно упоительным запахом».

Сенковского всегда привлекала активная журналистика.

Правда, газета, созданная им, быстро прогорела, зато в 1834 году Осип Иванович возглавил начатый А. Ф. Смирдиным журнал «Библиотека для чтения». Без профессионального писателя нет настоящей литературы, – эту истину Сенковский хорошо понял. Не удивительно, что «Библиотека для чтения» очень быстро достигла фантастического для того времени тиража: пяти тысяч! В журнале было все. «За стихотворением в нем шла статья о сельском хозяйстве, – вспоминал известный в те годы журналист А. В. Дружинин, – и за новой повестью Мишель-Масона следовал отчет о каких-нибудь открытиях по химии». Под разными псевдонимами, чаще всего под псевдонимом барона Брамбеуса, Сенковский писал бесчисленные статьи, заметки, комментарии, прочитывал и бесцеремонно исправлял чужие материалы, делая исключения разве что для Пушкина, да и то не всегда.

Знаменитый журнал просуществовал более тринадцати лет.

«Сенковский выдвинул принцип вкусовой критики, назы-



вая ее «картиною личных ощущений», – читаем мы в библиографическом словаре «Русские писатели», вышедшем в 1990 году под редакцией П. А. Николаева. – Он сравнивал Пушкина с Тимофеевым, Кукольника объявил русским Гете, «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова назвал неудавшимся опытом юного писателя, «Мертвые души» Н. В. Гоголя приравнял к романам Поля де Кока. В своих оценках Сенковский был и искренен, но часто они определялись коммерческими соображениями, были вызваны борьбой с конкурентами за рынок сбыта журнальной продукции. Показательна история отношения Сенковского к Пушкину. В 1835–1836 гг. Пушкин напечатал в журнале Сенковского «Пиковую даму», «Песни западных славян», «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказку о золотом петушке», «Кирджали», отрывки из «Медного всадника» и из «Истории Пугачева», несколько стихотворений. Сенковский по достоинству оценил новаторство пушкинской прозы. «Вы создаете нечто новое, вы начинаете новую эпоху в литературе, которую уже прославили в другой отрасли, – писал он Пушкину. – Вы положили начало новой прозе, можете в этом не сомневаться». Однако как только стало известно о том, что Пушкин будет издавать журнал «Современник», Сенковский повел на него наступление как на будущего конкурента. В 1836 г. в «Библиотеке для чтения» появились оскорбительные для Пушкина публикации Сенковского. В повесть «Записки домового» было

включено намекающее на Пушкина упоминание о том, как «человек тридцать приятелей» безуспешно пытаются поднять «одну упавшую репутацию»; в рецензии на перевод Е. П. Люценко поэмы К. – М. Виланда «Вастола» высмеивался Пушкин, выступивший в роли издателя «Вастолы»; в отделе «Смесь» Сенковский открыто порочил «Современник», называя его «бранно-периодическим альманахом», а Пушкина – «неосторожным гением», который с вершины Геликона, «нарвав там горсть колючих острот, бежит стремглав по скату горы» в «бездонное болото», наполненное черной грязью – журнальной полемикой». Тем не менее Пушкин защищал дерзкого журналиста: «Многие из статей Сенковского достойны занять место в лучших из европейских журналов. В показаниях его касательно Востока мы должны верить ему как люди непосвященные. Он издает «Библиотеку» с удивительной сметливостию, с аккуратностию, к которой не приучили нас гг. русские журналисты. Мы, смиренные провинциалы, благодарны ему – и за разнообразие статей, и за полноту книжек, и за свежие новости европейские, и даже за отчет о литературной всячине».

Только серьезная болезнь заставили Сенковского оставить редакторство.

Теперь он занимается фотографией, акустикой, механикой, модной в то время гальваностегией, музыкой, астрономией. Не переставая мечтать о богатстве, ввязывается в опасные спекуляции с табаком и прогорает. С 1856 года он

сильно бедствует. Сохранились слезные письма, посылавшиеся сменившему его в «Библиотеке для чтения» редактору. «Друг мой, ради Бога, сыщите мне немножко денег; я потерял три дня, ища сам, и когда у меня эта забота, я не могу работать. А я хочу работать, и беру себе чтеца-писца, который заменит мне глаза мои и у которого еще спина не болит от сидения. С этим орудием я обещаю Вам работать много – и денег с Вас не требовать, а ждать покуда разбогатеете. Но на него Вы должны дать мне 400 р. в год. За эту издержку будете иметь хорошего сотрудника. Дайте мне теперь хоть двести рублей на этот счет, а то я перестану работать».

По поводу знаменитого псевдонима жена писателя Аделаида Александровна заявляла: «Таинственное имя Брамбуса, так прославившееся, происходит из такого темного источника, что, вероятно, никто никогда не подумал бы отыскивать его там, откуда оно взято. У нас жил лакей, по имени Григорий, молодой человек, добрый малый, очень смысленный, но все-таки часто смешивший нас своими выходками и простотой. Однажды, например, он упорствовал в том, чтобы подавать гостям блюда в порядке совершенно противоположном тому, который был ему предписан: «Извините, – говорил он, – я не могу иначе. Я подаю по солнцу!» Этот человек страстно любил книги и всякую свободную минуту посвящал чтению. Была одна книга, которую он предпочитал всем прочим. Героем ее был испанский король Брамбус, а героиня – королева Брамбилла. Несколько раз Григо-

рий настолько погрузился в это чтение, что не слышал даже, когда Осип Иванович звал его. Мой муж полюбопытствовал узнать, что могло до такой степени увлекать его лакея; он взял эту книгу, всю ободранную от частого употребления, перелистывал ее, и с тех пор Григорию не было другого имени, как Брамбеус, в особенности, когда он делал какую-нибудь неловкость, какой-нибудь промах: «Брамбеус, ах ты Брамбеус этакой!» Это имя, так часто повторяемое моим мужем, первое представилось ему для псевдонима. Это имя было взято, потому что первое попало в руки».

Умер знаменитый писатель 4 марта 1858 года, диктуя для «Сына отечества» очередной фельетон. Александр Герцен как бы подвел итог многим мнениям о Сенковском: «Блестящий, но холодный лоск, презрительная улыбка, нередко скрывающая за собой угрызения совести, жажда наслаждений, усиливаемая неуверенностью в своей судьбе, насмешливый и все же невеселый материализм, принужденные шуточки человека, сидящего за тюремной решеткой».

Благодаря любящей жене вышло в свет Собрание сочинений барона Брамбеуса. Главные произведения Сенковского, изданные отдельно его женой Аделаидой Александровной, которая также написала подробную биографию мужа, составили девять довольно объемистых томов (Собрание сочинений в 9 т. – СПб., 1858–1859), а при первом томе «Собрания» приложен библиографический перечень его произведений, содержащий в себе 440 названий.

Дошла до нас и саркастическая эпитафия, сочиненная самим Осипом Ивановичем Сенковским. На колоссальном памятнике, который будет водружен на могиле из якобы умерщвленных *сих* и *оных*, должно были быть высечены следующие слова:

*Под сими,  
сими и оными  
покоится прах нежного друга  
барона Брамбеуса,  
падшего  
в войне за независимость Русского языка  
против коварных книжников,  
которым безутешная вдова его  
будет мстить  
вечно.*

## **СОЧИНЕНИЯ:**

Фантастические путешествия барона Брамбеуса. – СПб.: Типогр. вдовы Плюшар с сыном, 1833.

Собрание сочинений: В 9 т. – СПб: А. Ф. Маркс, 1858–1859.

Встреча Земли с кометой: Фантастический рассказ Сенковского (барона Брамбеуса). – СПб.: Паровая скоропечатня Я. И. Либермана, 1893. – (Бесплатное приложение к газете «Луч», декабрь 1893 г.).

Сочинения барона Брамбеуса. – М.: Сов. Россия, 1989.  
Записки домового. – М.: Правда, 1990.

## *ЛИТЕРАТУРА:*

*Сенковская А. Сенковский О. И.* Биографические записки его жены. – СПб., 1858.

*Соловьев Е. О. И. Сенковский.* Его жизнь и литературная деятельность в связи с историей современной ему журналистики. – СПб.: Тип. товарищества Общественная польза, 1891. – (Биографич. Биб-ка Ф. Павленкова).

*Каверин В. А.* Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского. – Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1929.

*Крачковский И. Ю.* Сенковский и его ученики. Избранные сочинения. – Т. 5. – М. – Л., 1958.

*Каверин В. А.* Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». – М.: Наука, 1966.

*Соловьев Е.* Осип Сенковский. – Екатеринбург: Урал, 1997.

**Николай Васильевич Гоголь**



Родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1809 года



в местечке Великие Сорочинцы (Полтавская губерния). Семья Гоголей-Яновских имела около 400 душ крепостных и более 1000 десятин земли. Детские годы будущий писатель провел в имении Васильевка, откуда родители часто навещались в Диканьку, принадлежавшую министру внутренних дел В. П. Кочубею, а также в Обуховку, где жил писатель В. В. Капнист, и в Кибинцы, где у дальнего родственника Гоголей Д. П. Трощинского была обширная библиотека и даже домашний театр.

«Пяти лет от роду Гоголь вздумал писать стихи, – вспоминал известный публицист Г. П. Данилевский— Никто не понимал, какого рода стихи он писал. Известный литератор В. В. Капнист, заехав однажды к отцу Гоголя, застал его пятилетнего сына за пером. Малютка Гоголь сидел у стола, глубокомысленно задумавшись над каким-то писанием. Капнисту удалось просьбами и ласками склонить ребенка-писателя прочесть свое произведение. Гоголь отвел Капниста в другую комнату и там прочел ему свои стихи. Капнист никому не сообщил содержание выслушанного им. Возвратившись к домашним Гоголя, он, лаская и обнимая маленького сочинителя, сказал: Из него будет большой талант, дай ему только судьба в руководители учителя-христианина...»

Гоголя с детства восхищала природа, но от людей, от поступков человеческих он часто приходил в уныние. «Чего бы, казалось, недоставало этому краю? – писал он одному из своих приятелей. – Полное роскошное лето. Хлеба, фруктов,

всего растительного – гибель. А народ беден, имения разорены и недоимки неоплатны. Начинают понимать, что пора приниматься за мануфактуры и фабрики, но капиталов нет, счастливая мысль дремлет, наконец, умирает, а они (помещики, – Г. П.) – рыскают с горя за зайцами». Даже близкие друзья отмечали бросающееся в глаза уныние, часто порождаемое, впрочем, здоровьем, которым Гоголь никогда не мог похвастаться.

В 1821 году юный Гоголь поступил в Нежинскую гимназию высших наук.

Отношения в гимназии между преподавателями не всегда складывались, – от этого страдали ученики. Застенчивый, скрытный, с детства чрезвычайно честолюбивый Гоголь с трудом терпел круг школьного товарищества. Наверное, от этого развился в нем талант каких-то особенных, часто нелепых преувеличений, помноженный на вспыльчивый характер. Об этом свойстве Гоголя вспоминал позже А. Д. Галахов, литератор и педагог, знавший его.

«Гоголь жил у Погодина, занимаясь, как он говорил, вторым томом «Мертвых душ», – писал Галахов. – Щепкин почти ежедневно отправлялся на беседу с ним. «Раз, – говорит он, – прихожу к нему и вижу, что сидит за письменным столом такой веселый». – «Как ваше здоровье? Заметно, что вы в хорошем расположении духа». – «Ты угадал: поздравь меня: кончил работу». Щепкин от удовольствия чуть не пустился в пляс и на все лады начал поздравлять автора. Когда они

сошлись в доме Аксакова, Щепкин, перед обедом, обращаясь к присутствующим, говорит: «Поздравьте Николая Васильевича. Он кончил вторую часть «Мертвых душ». Гоголь вдруг вскакивает: «Что за вздор? От кого ты это слышал?» – Щепкин пришел в изумление. – «Да от вас самих; сегодня утром вы мне сказали». – «Что ты, любезный, перекрестись: ты, верно, белены объелся или видел во сне». – Спрашивается: чего ради солгал человек? Зачем отперся от своих собственных слов?»

В 1828 году Гоголь приехал в Петербург.

Мечтал стать актером, но нужного голоса не оказалось.

Да и не только голоса не оказалось. «Однажды Гоголь взялся сыграть роль дяди-старика – страшного скряги, – писал в заметках «Черты из жизни Гоголя» Т. Г. Пашенко. – В этой роли Гоголь практиковался более месяца, и главная задача для него состояла в том, чтобы нос сходилась с подбородком. По целым часам просиживал он перед зеркалом и пригибал нос к подбородку, пока, наконец, не достиг желаемого...»

Конечно, для выхода на сцену этого было мало. Мечты о театре пришлось оставить.

Сделать карьеру на государственной службе тоже не получилось: в канцеляриях необходимо переписывать бесчисленные деловые бумаги, а это Гоголю было совсем уже не по характеру. К тому же он был глубоко убежден, что малейшее наше движение, любой наш самый незаметный шаг опреде-

лен свыше самим Господом. Это несоответствие окружающего мира и внутренних взглядов на мир сильно мешало писателю. Он предпочел бы сельскую тишину; весь его литературный багаж в те годы составляла поэма «Ганц Кюхельгартен», которую он издал на свои деньги под псевдонимом В. Алов.

*Светает. Вот проглянула деревня,  
Дома, сады. Все видно, все светло.  
Вся в золоте сияет колокольня  
И блещет луч на стареньком заборе.  
Пленительно оборотилось все  
Вниз головой, в серебряной воде:  
Забор, и дом, и садик в ней такие ж.  
Все движется в серебряной воде:  
Синеет свод, и волны облак ходят,  
И лес живой вот только не шумит...*

Слишком уж откровенное подражание Пушкину, Жуковскому, Фоссу не вызвало, да и не могло вызвать у петербургских литераторов ничего, кроме насмешек. Ужасно раздосадованный этим Гоголь (вот его истинный характер!) решил срочно отправиться в Америку, но доехал только до немецкого Любека, откуда за неимением средств ему пришлось вернуться обратно.

В Петербурге Гоголь всерьез решил заняться литературой.

Он был уверен в идеальности писателя – проповедника,

носителя знаний.

Он был убежден, что пишущий человек – это человек светлый, чистый душой.

К сожалению, действительность не всегда совпадает с нашими представлениями о ней. Критик и мемуарист П. В. Анненков так написал о первом визите Гоголя к обожаемому им Пушкину. «Он – (Гоголь, – Г. П.) – смело позвонил и на вопрос свой: «дома ли хозяин?», услышал ответ слуги: «почивают!» Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: «Верно, всю ночь работал?» – «Как же, работал, – отвечал слуга, – в картишки играл». Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения...»

Но скоро о литературных опытах Гоголя заговорили.

«Надобно познакомить тебя, – писал Пушкину профессор П. А. Плетнев, – с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в «Северных Цветах» отрывок из исторического романа с подписью оооо. Также в «Литературной Газете» – «Мысли о преподавании географии», статью «Женщина» и главу из малороссийской повести «Учитель». Их писал Гоголь-Яновский. Сперва он пошел было по гражданской службе, но страсть к педагогике привела его под мои знамена, он пошел в учителя. Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них

самих и, как художник, готов для них подвергать себя всем лишениям»).

Именно П. А. Плетнев, человек увлекающийся, устроил Гоголя учителем истории в Институт благородных девиц. Конечно же, эта помощь сразу увиделась Гоголю прямым указанием свыше. Подвиги! Высокие духовные подвиги! Он же всегда о них мечтал. Обрадованный Гоголь сразу замыслил написать не просто Историю, а Историю Всеобщую. «После изложения полной истории человечества – («О преподавании всеобщей истории») – я должен разобрать отдельно историю всех государств и народов, составляющих великий механизм всеобщей истории. Естественно, та же полнота, та же целостность должна быть видна и здесь в обозрении каждого порознь. Я должен обнять... как оно основалось, когда было в силе и блеске, когда и отчего пало (если только пало) и каким образом достигло того вида, в каком находится ныне; если же народ стерся с лица земли, то каким образом на место его образовался новый и что принял от прежнего»).

Величие и размах замыслов владели Гоголем, вот, правда, знаний не хватало. «Я на время решился занять кафедру истории, и именно средних веков, – писал он М. П. Погодину. – Если ты этого желаешь, то я пришлю тебе некоторые лекции свои, с тем только, *чтобы ты прислал мне свои* (курсив мой, – Г. П.). Весьма недурно, если бы ты отнял у кого-нибудь студента тетрадь записываемых им твоих лекций, особенно о средних веках, и прислал бы мне теперь же...»

«Наружный вид Гоголя, – вспоминал близко друживший с ним С. Т. Аксаков, – был тогда совершенно другой и не выгодный для него: хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички придавали совсем другую физиономию его лицу; нам показалось, что в нем было что-то хохлацкое и плутоватое. В платье Гоголя приметна была претензия на щегольство. У меня осталось в памяти, что на нем был пестрый светлый жилет с большой цепочкой...»

И характер Гоголя поразил Аксакова. Особенно его скрытность и в то же время восторженность, а также странное многими отмеченное, можно сказать, непомерное, неестественное честолюбие. «Я, однако, объясняя себе поступки Гоголя его природною скрытностью и замкнутостью, его правилами, принятыми с детства, что иногда должно не только не говорить настоящей правды людям, но и выдумывать всякий вздор для скрытия истины, я старался успокоить других моими объяснениями. Я приписывал скрытность и даже какую-нибудь пустую ложь, которую употреблял иногда Гоголь, когда его уличали в неискренности, единственно странности его характера и его рассеянности. Будучи погружен в совсем другие мысли, разбуженный как будто от сна, он иногда сам не знал, что отвечает и что говорит, лишь бы только отделаться от докучного вопроса; данный таким образом ответ невпопад надо было впоследствии поддержать или оправдать, из чего иногда выходило целое сплетение разных

мелких неправд. Впрочем, я должен сказать, что странности Гоголя иногда были необъяснимы и остались навсегда для меня загадками. Мне нередко приходилось объяснять самому себе поступки Гоголя точно так, как я объяснял их другим, т. е. что *мы не можем судить Гоголя по себе* (курсив мой, – Г. П.), даже не можем понимать его впечатлений, потому что, вероятно, весь организм его устроен как-нибудь иначе, чем у нас; что нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших, слышат то, что мы не слышим, и содрогаются от причин, для нас неизвестных...»

В 1831 году вышли «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Чудесные истории, пронизанные сказочными образами и особенной интонацией, сразу покорили читателей. Некоторое влияние Э. А. Гофмана и В. Ф. Одоевского, конечно, угадывалось, но сразу было ясно: пришел *новый* писатель! И не просто новый, а именно *писатель*! Это необыкновенно утвердило Гоголя в некоторых его привычках, иногда не самых лучших. «Гоголь, по характеру своему, – писал П. В. Анненков, – старался действовать на толпу и внешним своим существованием; он любил показать себя в некоторой таинственной перспективе и скрыть от нее некоторые мелочи, которые особенно на нее действуют. Так после издания «Вечеров», проезжая через Москву, он на заставе устроил дело так, чтоб прописаться и попасть в «Московские Ведомости» не «коллежским регистратором», каковым он был, а «коллежским ассессором». – «Это надо», – говорил он приятелю,



его сопровождавшему...»

С. П. Шевырев, критик весьма авторитетный, первый заговорил о некоторых литературных несоответствиях, с которыми Гоголь, как впрочем, и любой писатель, боролся всю жизнь. «Мне кажется, что народные предания, для того, чтобы они производили на нас то действие, которое надо, следует пересказывать или стихами или в прозе, но тем же языком, каким вы слышали их от народа. Иначе, в нашей дельной, суровой и точной прозе они потеряют всю прелесть своей занимательности. В начале этой повести – («Вий» – Г. П.) – находится живая картина Киевской бурсы и кочевой жизни бурсаков, но эта занимательная и яркая картина своею существенностью как-то не гармонирует с фантастическим содержанием продолжения. Ужасные видения семинариста в церкви были камнем преткновения для автора. Эти видения не производят ужаса, потому что они слишком подробно описаны. Ужасное не может быть подробно: призрак тогда страшен, когда в нем есть какая-то неопределенность: если же вы в призраке умеете разглядеть слизистую пирамиду, с какими-то челюстями вместо ног, и с языком вверху... тут уж не будет ничего страшного – и ужасное переходит просто в уродливое...»

Не правда ли, все сказанное выше остается справедливым и для нынешних «фантастических» книг?

После выхода в свет «Портрета» и «Записок сумасшедшего» успех Гоголя утвердился. И настолько, что в 1834 году,

благодаря влиятельным друзьям, Гоголь действительно был назначен профессором Петербургского университета. Первая лекция писателя, посвященная истории Средних веков, встречена была с неподдельным интересом, но остальные лекции ждал полный провал.

«Я был одним из его слушателей в 1835 году, когда он преподавал историю в С. – Петербургском университете, – вспоминал И. С. Тургенев. – Это преподавание, правду сказать, происходило оригинальным образом. Во-первых, Гоголь из трех лекций непременно пропускал две; во-вторых, даже когда он появлялся на кафедре, – он не говорил, а шептал что-то весьма несвязное, показывал нам маленькие гравюры из стали, изображавшие виды Палестины и других восточных стран, и все время ужасно конфузился. Мы все были убеждены (и едва ли мы ошибались), что он ничего не смыслит в истории – и что *г. Гоголь-Яновский*, наш профессор (он так именовался в расписании лекций), не имеет ничего общего с писателем Гоголем, уже известным нам как автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки». На выпускном экзамене из своего предмета он сидел, повязанный платком, якобы от зубной боли, и не разевал рта. Спрашивал студентов за него профессор И. П. Шульгин. Как теперь вижу его худую, длинноносную фигуру с двумя высоко торчавшими – в виде ушей – концами черного шелкового платка. Нет сомнения, что он сам хорошо понимал весь комизм и всю неловкость своего положения: он в том же году подал в отставку. Это не поме-

шало ему однако воскликнуть: «Непризнанный взошел я на эту кафедру – и непризнанный схожу с нее!» Он был рожден для того, чтобы быть наставником своих современников; но только не с кафедры...»

С июня 1836 года Гоголь много времени проводит за границей.

Постоянные переезды, мягкий климат Италии поддерживали писателя.

«Я соскучился страшно без Рима, – писал он поэту Н. Я. Прокоповичу. – Там только я был совершенно спокоен, здоров и мог предаться моим занятиям. Мутно и туманно все кажется после Италии. Прежние синие горы теперь кажутся серыми: все пахнет севером после нее...» И чуть позже – М. П. Балабиной. «Когда я увидел, наконец, во второй раз Рим, о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то: не свою родину, а родину души я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде чем я родился на свет...»

Именно в Риме Гоголь утвердился в той мысли, что ниспослан на грешную землю не просто так, а для того, чтобы в качестве чуть ли не пророка донести до опустившихся греховных людей некую особенную, открытую только ему божественную волю. Слава, которую он обрел после появления в свет пьес «Ревизор» и «Женитьба», повестей «Тарас Буль-

ба» и «Шинель», первого тома «Мертвых душ» поднимала и поддерживала его в таких мыслях. Самую печальную и великую свою книгу «Мертвые души» он не случайно назвал поэмой. Задуманная как трехтомное повествование, поэма должна было открыть людям глаза на всю пагубность их быта, и... спасти!

Доходило ли это до всех? Да нет, конечно.

«Гоголь читал первые главы «Мертвых душ» у Ивана Васильевича Киреевского и еще у кого-то, – вспоминал С. Т. Аксаков. – Все слушатели приходили в совершенный восторг. Но были люди, которые возненавидели Гоголя с самого появления «Ревизора». «Мертвые души» только усилили эту ненависть. Так, например, я сам слышал, как известный граф Толстой-Американец говорил при многолюдном собрании в доме Перфильевых, которые были горячими поклонниками Гоголя, что он «враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь...»

К сожалению, работу над поэмой Гоголь не завершил.

Он всегда отличался слабостью здоровья, а с годами душевное напряжение в нем нарастало, скапливалось. Много времени Гоголь проводил в разъездах, каким-то странным образом пребывание в дороге, постоянное движение придавали ему сил. Он не знал женщин. С определенного времени жизнь виделась ему как единое религиозно-мистическое переживание, что, впрочем, не мешало ему помнить о будничных заботах. «Узнай от Плетнева, – писал он Н. Я. Проко-

повичу, – получил ли он от Жуковского что-нибудь, что мне следовало от государыни за поднесение экземпляра моей комедии». Именно болезненное физическое состояние питало многие его видения.

Поразительные слова можно найти в его статье «Об архитектуре нынешнего времени». «Мне прежде приходила очень странная мысль, – писал Гоголь, – я думал, что весьма не мешало бы иметь в городе одну такую улицу, которая бы вмещала в себе архитектурную летопись, чтобы начиналась она тяжелыми, мрачными воротами, – прошедши которые, зритель видел бы с двух сторон возвышающиеся величественные здания первобытного дикого вкуса, общего первоначальным народам, потом постепенное изменение ее в разные виды: высокое преобразование в колоссальную, исполненную простоты, египетскую, потом в красавицу греческую, потом в сладострастную александрийскую и византийскую с плоскими куполами, потом в римскую с арками в несколько рядов, далее вновь нисходящую к диким временам и вдруг потом поднявшеюся до необыкновенной роскоши аравийскою, потом дикою готическою, потом готико-арабскою, потом чисто готическою, венцом искусства, дышащею в Кельнском соборе, потом страшным смешением архитектур, происшедшим от обращения к византийской, потом древнею греческую, в новом костюме и, наконец, чтобы вся улица оканчивалась воротами, заключавшими бы в себе стихи нового вкуса. Эта улица сделалась бы тогда в некотором отно-

шении историю развития вкуса, и кто ленив перевертывать толстые томы, тому бы стоило только пройти по ней, чтобы узнать все».

В русской фантастике Гоголь остался, прежде всего, рассказами.

В марте 25 числа некий цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте, находит в середине разрезанного им хлеба человеческий нос. «Иван Яковлевич, – читаем мы, – как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный», но даже такому страшному пьянице находка не понравилась. Еще меньше понравилось произошедшее коллежскому асессору Ковалеву, который, проснувшись, вместо носа обнаружил у себя на лице сплошное ровное место. Вот, однако, конфуз, ведь майор Ковалев строил самые обширные личные планы. Например, «был не прочь и жениться, но только в том случае, когда за невестой случится двести тысяч капиталу». Теперь же, при отсутствии носа...

Еще более запутанной описанная ситуация становится, когда майор случайно видит свой нос самостоятельно выходящим из одного очень приличного дома. Нос «был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника...» Попробуй понять это. Только через несколько дней полицейский чиновник с бакенбардами

не слишком светлыми и не слишком темными (Гоголь всегда любил такие стилевые фигуры) разъяснил майору Ковалеву, что сбежавший нос, наконец, найден и схвачен. Как? «Да странным случаем, – с удовольствием разъяснил полицейский чиновник, – его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И паспорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастью, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук, и если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя теща, то есть мать моей жены, тоже ничего не видит...»

«После этого, – пояснял уже сам Гоголь, – как-то странно и совершенно неизъясным образом случилось, что у майора Ковалева опять показался на своем месте нос. Это случилось уже в начале мая. Не помню, 5 или 6 числа. Майор Ковалев, проснувшись поутру, взял зеркало и увидел, что нос сидел уже где следует, между двумя щеками. В изумлении он выронил зеркало на пол и все шупал пальцами, действительно ли это был нос. Но, уверившись, что это был точно не кто другой, как он самый, он соскочил с кровати в одной рубашке и начал плясать по всей комнате какой-то танец, составленный из мазурки, кадрили и тропака. Потом приказал дать себе одеться, умылся, выбрил бороду, которая уже отросла было так, что могла вместо щетки чистить платье, – и через

несколько минут видели уже коллежского асессора на Невском проспекте, весело поглядывавшего на всех; а многие даже заметили его покупавшим в Гостином дворе узенькую орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что у него не было никакого ордена».

При всей необычности, даже странности фантастики Гоголя, она не мистика, не видения, не туманные сны, нет, она скорее фантастика чепухи, бессмыслицы, произрастающей из человеческой глупости, из нелепостей, из алогизма человеческого поведения. Бегство носа, фантазирование сумасшедшего, невероятные фантазии Аммоса Федоровича и Дамы, приятной во всех отношениях, торговля мертвыми душами, замшелые страшные мертвецы, со стоном встающие над Карпатами, гроб, летающий по церкви вокруг умирающего от ужаса Хомя Брута... Мы никогда уже не узнаем, что кипело в несчастной мнительной душе писателя, но всегда будем ощущать ужас написанного.

И не только ужас. Но и прелесть.

В рассказе «Портрет» художник Чартков совершает необычную покупку.

«Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движенья и отзывались не северною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет, но когда удалось ему счистить с лица пыль, он



– (Чартков, – Г. П.) увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: «Глядит, глядит», – и попятилась назад...»

С первой встречи взгляд таинственного старика западает в душу художника.

«Он опять подошел к портрету, с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собою бред мечты и облегчающий все в иные образы, противоположные положительному дню, или что другое было причиною тому, только ему сделалось вдруг, неизвестно отчего, страшно сидеть одному в комнате. Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно, сам собою, косясь, оглядывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате; ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякий раз робко оглядывался он назад. Он

не был никогда труслив; но воображение и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот заглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпенье Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он наконец робко, не подымая глаз, поднялся с своего места, отправился к себе за ширму и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висящий на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительно вперились в него...»

Золотые червонцы, найденные в деревянной раме загадочного портрета, совершенно меняют привычную жизнь художника. Поначалу Чартков искренне мечтал о лучших красках, о новых холстах, о великой работе на благо человечества, но тихо, незаметно, предательски начали возникать в его голове мысли о модном фраке, о более удобной квартире, о дорогих ресторанах...

Гоголь великолепно ловит детали и ощущения.

О светской девушке, привезенной к Чарткову, и сказано-то всего ничего.

«И в одно мгновение придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, вперил глаз в бледное личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы, он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам, начало тоски и жалоб на длинноту времени до обеда и после обеда, желанья побегать в новом платье на гу-

ляньях, тяжелые следы безучастного прилежания к разным искусствам, внушаемого матерью для возвышения души и чувств... Но художник видел в этом нежном личике одну только заманчивую для кисти почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкость стана».

Спасти дар Чарткова уже ничто не может.

Талантливый художник катится по наклонной.

Теперь он пишет только по заказу и только то, чего от него хотят.

И когда приходит ужасное понимание, что он вконец загубил свой талант, это приводит Чарткова в бешенство. На зарабатываемые им деньги ныне богатый Чартков начинает скупать все выдающееся и прекрасное, но вовсе не затем, чтобы любоваться купленными шедеврами. Совсем нет. После смерти художника «ничего не могли найти от огромных его богатств; но, увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление».

Душевная болезнь самого Гоголя тоже углублялась. Напечатанные в 1847 году «Выбранные места из переписки с друзьями» вызвали шок даже среди близких друзей писателя. Особенность этой книги хорошо объяснил известный исследователь русской литературы Д. П. Святополк-Мирский.

«Гоголь, наделенный сверхчеловеческой силой творческого воображения (в мировой литературе у него в этом есть

равные, но нет высших), обладал совершенно несоответствующим его гению пониманием вещей. Идеи свои он вынес из провинциального отчего дома, получил их от своей простенькой, инфантильной матери; впитанный им в первые годы литературной деятельности столь же примитивный романтический культ красоты и искусства только слегка видоизменил их. Но его безграничное честолюбие, усилившееся от почестей, воздаваемых ему его московскими друзьями, побуждало его стать чем-то большим – не просто комическим писателем, а пророком, учителем. И он довел себя до того, что уверовал в свою божественную миссию – воскресить морально погрязшую в грехах Россию. Но он не создан был для религиозной жизни, – писал далее Святополк-Мирский, – и как бы отчаянно себя к ней ни принуждал, она ему не давалась. Началось следующее действие его трагедии. Вместо того чтобы провозглашать благую весть, которой не обладал, он попытался совершить то, на что не был способен. Его начальное религиозное образование рисовало ему христианство в его простейших формах: как страх смерти и ада, но у него не было внутреннего устремления к Христу. Бездна надежды усилилась, когда он предпринял паломничество на Святую Землю. Душа его не согрелась от того, что он оказался на земле, по которой ходил Христос, и это окончательно убедило его, что он погиб безвозвратно».

Даже С. Т. Аксаков, по-братски любивший Гоголя, писал ему в 1848 году:

«Я должен сказать вам все, что у меня на душе... Во всем, что вы писали в письмах, и в книге вашей особенно, вижу я прежде всего один главный недостаток: это *ложь*. Ложь не в смысле обмана и не в смысле ошибки, нет, а в смысле *неискренности*, прежде всего. Это внутренняя неправда человека с самим собою. Ваши важные и еще более важничавшие письма с их глубокомыслием, часто наружным, часто ложным, ваши благотворительные поручения с их неискреннею тайною, ваше возмутительное предисловие ко второму изданию «Мертвых душ», наконец, ваша книга, повершившая все, – далеко оттолкнули меня от вас. Я напал на вас и дома, и в обществе почти так же горячо, как прежде стоял за вас. Не знаю, дошли ли до вас слухи об этом; я думаю, что дошли. Ваши дополнительные письма еще более усилили негодование. Знакомство ж с Смирновой, воспитанницей вашей, еще более объяснило и вас, и ваш взгляд, и состояние души вашей, и учение ваше, учение ложное, лживое, совершенно противоположное искренности и простоте... Потом; самые мысли ваши ложны; вы дошли до невероятных положений: таково письмо о семи кучках, непостижимое, возмутительное; о, сколько хитрости и искусственности в нем. Таково письмо ваше к Жуковскому, письмо, так сильно противоречащее, по-моему, вере православной, да и мало ли еще других мест ложных уж и по мысли своей в письмах ваших. В подробности вдаваться я не стану; я укажу еще на великий проступок ваш: на презрение к народу, к русскому простому

народу, к крестьянину. Это выражается в вашем предисловии ко второму изданию «Мертвых душ», это выражается в письмах ваших. В вашей книге, особенно в наставлении помещика, где грубо и необразованно является незнаемый и, к сожалению, не подозреваемый вами даже народ, и где помещик поставлен выше как помещик и в нравственном отношении. Странная нравственная аристократия; странное основание духовного достоинства; недостает, чтобы вы сказали, что тот, у кого больше душ, выше и в нравственном отношении. Вот великая вина: *поклонение перед публикой и презрение к народу*. Знаете ли вы знаменитое восклицание полицмейстера: *публика вперед, народ назад!* Это может стать эпиграфом к истории Петра; это слышно и в вашей книге. Но знаете ли вы, которые говорите о простоте и смирении, что простота и смирение есть только у русского крестьянина. Вот почему так высок он, выше всех нас, выше писателей, вкривь и вкось о нем толкующих и не знающих его. Как же могло это случиться, что вы, Николай Васильевич, человек русский, так не понимаете, не предполагаете русского народа, что вы, столько искренний в своих произведениях, стали так глубоко неискренни».

Положительные отзывы Вяземского, Шевырева, Булгарина о «Выбранных местах из переписки с друзьями» только усугубили ситуацию. Когда малороссийский «пересмешник» берется поучать всех вообще, в том числе и самого Государя, это перестает быть смешным. В. Г. Белинский в зна-

менитом письме, отправленном Гоголю в 15 июля 1847 года, может, лучше всех объяснил это.

«Вы, насколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почетно, почему у нас так легок литературный успех даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, и почему так скоро падает популярность великих талантов, отдающих себя искренне или неискренне в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример – Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданнических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной любви! И вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных вами всем и каждому. Положим, вы могли это думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре» и «Мертвых душах» вы менее резко, с меньшею истиною и талан-

том и менее горькие правды высказали ей? И старая школа, действительно, сердилась на вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые души» оттого не пали, тогда как ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от русского самодержавия, православия и народности, и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не простит ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще в зародыше, свежего, здорового чутья, и это же показывает, что у него есть будущность. Если вы любите Россию, порадитесь вместе со мной, порадитесь падению вашей книги».

В 1843 году Гоголь близко познакомился с графом А. П. Толстым, человеком глубоко и страстно верующим.

«Силы мои слабеют ежеминутно, но не дух, – в отчаянии писал Гоголь графу в 1846 году. – Никогда еще телесные недуги не были так изнурительны. Часто бывает так тяжело, так тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всем составе тела, что рад бываешь, как Бог знает чему, когда, наконец, оканчивается день и доберешься до постели. Часто, в душевном бессилии, восклицаешь: «Боже! где же, наконец, берег всего?» Но потом, когда оглянешься на самого себя и согласишься глубже себе внутрь – ничего уже не издает душа, кроме одних слез и благодарения. О! как нужны нам недуги! Из множества польз, которые я уже извлек из них,



скажу вам только одну: ныне каков я ни есть, но я все же стал лучше, нежели был прежде; не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, каким следует мне быть. Не говорю уже о том, что самое здоровье, которое беспрестанно подталкивает русского человека на какие-то прыжки и желанье порисоваться своими качествами перед другими, заставило бы меня наделать уже тысячу глупостей. Притом ныне, в мои свежие минуты, которые дает мне милость небесная и среди самих страданий, иногда приходят ко мне мысли, несравненно лучшие прежних, и я вижу сам, что теперь все, что ни выйдет из-под пера моего, будет значительнее прежнего. Не будь тяжких болезненных страданий, куда б я теперь не занесся! каким бы значительным человеком вообразил себя! Но, слыша ежеминутно, что жизнь моя на волоске, что недуг может остановить вдруг тот труд мой, на котором основана вся моя значительность, и та польза, которую так желает принести душа моя, останется в одном бессильном желании, а не в исполнении, и не дам я никаких процентов на данные мне Богом таланты, и буду осужден, как последний из преступников... Слыша все это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу слов, как благодарить небесного Промыслителя за мою болезнь. Принимайте же и вы покорно всякий недуг, веря вперед, что он нужен. Молитесь Богу только о том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся глубина его высокого смысла».

Так же часто и подолгу Гоголь беседовал в те годы о спа-

сении души с давнишней своей приятельницей А. С. Смирновой-Россет. А зимой 1848 года все тот же А. П. Толстой свел писателя со священником Матфеем Константиновским, ставшим его духовником. Именно Матфею Константиновскому поверял писатель все состояния своей мятущейся души.

Большую часть времени писатель теперь жил в Москве.

«Мы вошли, и я увидел Гоголя, стоявшего перед конторкой с пером в руке, – вспоминал И. С. Тургенев встречу с автором «Мертвых душ» осенью 1851 года. – Он был одет в темное пальто, зеленый бархатный жилет и коричневые панталоны. Его белокурые волосы, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатога, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость – именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами; в их неопределенных очертаниях выражались – так по крайней мере мне показалось – темные стороны его характера: когда он говорил, они неприятно раскрывались и выказывали ряд нехороших зубов; маленький подбородок уходил в широкий бархатный черный галстук. В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское, а

учительское – что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и в гимназиях. «Какое ты умное, и страшное, и больное существо!» – невольно думалось, глядя на него. Помнится, мы с Михаилом Семеновичем – (Щепкиным, – Г. П.) – и ехали к нему как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове. Вся Москва была о нем такого мнения. Михаил Семенович предупредил меня, что с ним не следует говорить о продолжении «Мертвых душ», об этой второй части, над которою он так упорно трудился и которую он, как известно, сжег перед смертью; что он этого разговора не любит. О «Переписке с друзьями» я сам не упомянул бы, так как ничего не мог сказать о ней хорошего. Впрочем, я и не готовился ни к какой беседе, – а просто жаждал видеться с человеком, творчества которого я чуть не знал наизусть. Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя; теперь же и нет никого, на ком могло бы сосредоточиться общее внимание».

Душевный кризис и болезнь углублялись.

С. Т. Аксаков, буквально боготворивший Гоголя, писал своему брату: «Увы, исполняется мое давнишнее опасение! Религиозная восторженность убила великого художника и даже делает его сумасшедшим». И в другом письме еще более откровенно: «Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости, а не христианское смирение. Я никогда не прошу ему выходок на Погодина; в них дышит дьявольская злоба,

а он изволит утопать в сладости любви христианской. Меня оскорбило письмо его к Веневитиновой, которое и написать совестно, не только напечатать (речь идет все о тех же «Выбранных местах из переписки с друзьями», – Г. П.), которое нашпиговано *ангельскими устами и небесным голосом*, где определяется чисто католическое воззрение на красоту женщины и употребление оной и, между прочим, говорится о *рукоплесканиях на небесах*. Я не мог читать без отвращения печатное завещание человека живого и здорового, в каждом слове которого дышит невероятная гордость и опять-таки злоба на Погодина; где эстамп «Преображения господня» так и ложится рядом с его портретом. Боже мой, какое впечатление произведет это завещание на его бедную мать! Я не мог без горького смеха слушать его наставления помещикам, как надобно им пахать, жать и косить впереди своих крестьян; как заставлять их прикладываться к некоторым словам священного писания, *тыкая* в них пальцем, как чинить суд и расправу и как уверить умный русский народ, что помещик для того только справляет барщину, чтобы они в поте лица снедали хлеб свой; как раскладывать свой годовой доход, которого никогда при начале года в руках не бывает, на семь куч и если в куче, назначенной для благотворения, не достанет денег, то дать людям умирать возле себя, а из другой кучи не брать! Я не мог без жалости слышать этот язык, пошлый, сухой, вялый и безжизненный...»

К сожалению, жизнь Гоголя еще раз показала, что любая

идея, даже самая благостная и верная может быть доведена до смертного абсурда. Что ж, гений сам собою не управляет. В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года в Москве на Никитском бульваре в доме графа А. П. Толстого Гоголь сжег, как полагают, весь заново написанный второй том «Мертвых душ». В состоянии самой черной меланхолии он умер утром 21 февраля (4 марта) того же года. Похоронен на кладбище Свято-Данилова монастыря. В 1931 году останки писателя перезахоронены на Новодевичьем кладбище.

### ***СОЧИНЕНИЯ:***

- Вечера на хуторе близ Диканьки: Повести, изданные па-  
сичником Рудым Паньком. Ч. 1–2. – СПб., 1831–32.  
Арабески. Ч. 1–2. – СПб., 1835.  
Миргород. Ч. 1–2. – СПб., 1835.  
Сочинения. Т. 1–6. – М., 1855–1856.  
Сочинения и письма. Т. 1–9. – СПб., 1907–1909.  
Собрание сочинений в шести томах: Т. I – VI. – М., 1937.  
Полное собрание сочинений. Т. 1–14. – М., 1937–1952.  
Собрание сочинений. Т. 1–7. – М., 1984–1986.  
Собрание сочинений. Т. 1–8. – М.: Терра, 2001.

## ***ЛИТЕРАТУРА:***

*Панаев И. И.* Литературные воспоминания. Полн. собр. соч. – Том 6. – СПб., 1888.

*Анненков П. В.* Литературные воспоминания. – СПб, 1909.

*Гиппиус В.* Гоголь. – 1924.

*Белый А.* Мастерство Гоголя. – М. – Л., 1934.

*Манн Ю.* Поэтика Гоголя. – 1978.

*Золотусский И. П.* Гоголь. – М.: Мол. гвардия, 1979. – (Жизнь замечательных людей).

*Дилакторская О. Г.* Фантастическое в «Петербургских повестях» Гоголя. – 1986.

*Иваницкий А.* Гоголь: Морфология земли и власти. – М.: Изд-во РГГУ, 2000.

*Мирский Д. С.* История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. – Магадан, 2001.

Гоголь в Нежинской гимназии высших наук. Антология мемуаров. – СПб: Изд-во «Пушкинский дом», 2014.

**Алексей Константинович Толстой**



Родился 24 августа (5 сентября по новому стилю) 1817 года в Петербурге.

По матери – правнук Кирилла Разумовского, последнего



гетмана Украины, президента Российской Академии наук, по отцу – потомок известного старинного графского рода. Родители разошлись сразу после рождения сына, воспитывался матерью и ее братом – писателем А. Перовским (псевдоним А. Погорельский). Детские годы прошли в имении Красный Рог (отсюда псевдоним, которым Толстой подписывал свои первые книги – Краснорогский), расположенном в Черниговской губернии.

«Мое детство было очень счастливо и оставило во мне одни только светлые воспоминания. Единственный сын, не имевший никаких товарищей для игр и наделенный весьма живым воображением, я очень рано привык к мечтательности, вскоре превратившейся в ярко выраженную склонность к поэзии. С шестилетнего возраста я начал мараить бумагу и писать стихи – настолько поразили мое воображение произведения лучших наших поэтов, найденные мною в каком-то толстом, плохо отпечатанном и плохо сброшюрованном сборнике. Я упивался музыкой разнообразных ритмов и старался усвоить их технику. Мои первые опыты были, без сомнения, нелепы, но в метрическом отношении отличались безупречностью».

*Ты знаешь край, где все обильем дышит,  
Где реки льются чище серебра,  
Где ветерок степной ковыль колышет,  
В вишневых рощах тонут хутора...*

Этой тональности Алексей Толстой практически никогда не терял.

Пришла пора учебы. В Петербурге юный граф не затерялся, усилиями влиятельных родственников он был представлен восьмилетнему наследнику престола – будущему императору Александру II. Поэт Василий Андреевич Жуковский, занимавшийся образованием царского сына, подсказал Николаю I, что наследнику его полезно иметь товарищей по занятиям. В «товарищи» были выбраны старший сын графа Михаила Виельгорского – Иосиф, сын генерала Паткуля – Александр Паткуль, Александр Адлерберг, Алексей Толстой, и чуть позже юный князь Александр Барятинский.

Десяти лет от роду Толстой впервые побывал с матерью и с дядей за границей.

В Веймаре в 1827 году они посетили Иоганна Вольфганга Гете; в подарок от великого поэта юный Толстой получил обломок мамонтового бивня, украшенный собственноручным рисунком создателя «Фауста». А путешествие по Италии, совершенное в 1831 году, позволило расширить художественные взгляды Алексея Толстого. «В очень короткое время, – писал он, – я научился отличать прекрасное от посредственного, выучил имена всех живописцев, всех скульпторов и почти мог соревноваться со знатоками в оценке картин и изваяний. При виде картины я мог всегда назвать живописца и почти никогда не ошибался».

В 1834 году Толстого определили «студентом» в Москов-

ский архив Министерства иностранных дел, где, как правило, начинали карьеру отпрыски самых известных и богатых российских фамилий, а уже через два года юный граф был прикомандирован к русской дипломатической миссии во Франкфурте-на-Майне. Светский лев, красавец, остроумец, любитель розыгрышей, тонкий ценитель поэзии и живописи, он старался увидеть и услышать в Европе как можно больше. В итоге в конце 1840 года он был переведен обратно в Россию на службу в отделение канцелярии императора Николая I, ведавшее вопросами законодательства.

Давняя, с детства, дружба с великим князем Александром позволила Алексею Толстому сделать стремительную придворную карьеру. После восшествия Александра II на престол он стал флигель-адъютантом, затем царским егермейстером. Это позволило ему активно вступаться за «обиженных». Так, он хлопотал о возвращении из ссылки Тараса Шевченко; в 1862 году вступился за И. С. Аксакова, отлученного властями от редактируемой им газеты «День»; в 1863 году помог И. С. Тургеневу, привлеченному к делу о лицах, обвиняемых в сношениях с «лондонскими пропагандистами», то есть с Герценом и Огаревым. Он даже Н. Г. Чернышевскому пытался смягчить судьбу, по крайней мере, известно, что на вполне, казалось бы, дежурный вопрос императора Александра II о том, что сегодня делается в русской литературе, Толстой ответил, что «русская литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышев-

ского». Император резко заметил: «Прошу тебя, Толстой, никогда не напоминать мне о Чернышевском». И это было не случайное замечание, это был именно взгляд царя на установленные в стране порядки. В 1858 году, когда учреждался негласный комитет по делам печати, Александр II категорически отверг предложение министра народного просвещения Е. П. Ковалевского включить в комитет кого-либо из российских писателей. «Что твои литераторы, ни на одного из них нельзя положиться!» – сказал он. Ковалевский в ответ заметил, что если так, то можно назначить в комитет кого-то из придворных, известных любовью к словесности, например, князя Николая Орлова, или графа Алексея Константиновича Толстого, или флигель-адъютанта Н. Я. Ростовцева, но и в этом министр получил отказ.

В русской фантастике поэт Толстой оставил явственный след.

В конце 30-х он напечатал первые свои рассказы – «Семья вурдалака» и «Встреча через триста лет». Он сразу нашел в них свою особенную тональность. «В народе жило одно предание, от которого меня всегда мороз подирал по коже: будто бы в том лесу путешественников иногда преследовал некий человек гигантского роста, пугающе бледный и худой, на четвереньках гонявшийся за экипажами и пытавшийся ухватиться за колеса, причем он испускал вопли и умолял дать ему поесть. Последнему обстоятельству он был обязан прозвищем «голодный». Называли его также «священник из

Обербуа». Не знаю почему, но образ изможденного существа, передвигающегося на четвереньках, превосходил в моем воображении все самое ужасное, что только можно было представить себе. Часто мне мерещилось в сумраке, будто по земле между деревьями ползет отвратительный священник...»

В 1841 году Толстой (под псевдонимом *Красногорский*) выпустил в свет новую фантастическую повесть – «Упырь».

Некто Руневский, герой повести, однажды на балу обратил внимание на слишком уж разговорчивую старуху бригадиршу Сугробину и отдельно от нее стоящего странного молчаливого человека. «Он стоял, прислонясь к камину, и с таким вниманием смотрел в один угол залы, что не заметил, как пола его фрака дотронулась до огня и начала куриться». На вопрос, кого так внимательно и сурово он высматривает в шумном зале, незнакомец ответил: «Упырей». И пояснил: «Вы их, Бог знает почему, называете вампирами, но я могу вас уверить, что им настоящее русское название упырь; а так как они происхождения чисто славянского, хотя встречаются во всей Европе и даже в Азии, то и неосновательно придерживаться имени, исковерканного венгерскими монахами, которые вздумали было все переворачивать на латинский лад». После таких слов незнакомец легким почти незаметным кивком указал на разговорчивую бригадиршу: «Вот вам самый гнусный упырь, который только ждет случая, чтобы насытиться человеческой кровью. Смотрите, как она гля-

дит на эту бедную девушку; это ее родная внучка. Послушайте, что говорит старуха: она ее расхваливает и уговаривает приехать недели на две к ней на дачу. Но я вас уверяю, что не пройдет трех дней, как бедняжка умрет. Доктора скажут, что это горячка или воспаление легких; но вы им не верьте».

Триллер, фэнтези, хорор, мистическая повесть, – в русской литературе Алексей Константинович Толстой предвосхитил многое.

«Ведь не все ж с молодежью-то балагурить! – говорит бригадирша Сугробина. – В наше время не то было, что теперь: тогда молодые люди меньше франтили да больше слушали стариков; куцых-то фраков не носили, а не хуже нашего одевались».

Эти вполне, казалось бы, здравые рассуждения вызывают в Руневском противоречивые чувства, к тому же он страстно влюбляется как раз в Дашеньку, внучку бригадирши. Еще больше сбивают с толку Руневского слова самой бригадирши о человеке, заговорившем на балу об упырях: «Это же господин Рыбаренко. Он родом малороссиянин и из хорошей фамилии. Только он, бедняжка, уж три года, как помешался в уме. А все это от модного воспитания. Ведь, кажется, еще молоко на губах не обсохло, а надо было поехать в чужие края! Пошатался там с года два, да и приехал с умом наизнанку».

И вконец запутывают положение взволнованные объяснения Дашенькой того, что «потом маменька вдруг без вся-

кой причины сделалась больна, стала худеть и через неделю скончалась. Добрая бабушка до самой последней минуты от нее не отходила. Она по целым ночам сидела у ее кровати. Я помню, как в последний день ее платье было покрыто маменькиной кровью...»

Вставная новелла в повести «Упырь» – о похождениях Рыбаренко в Италии – полна и ужаса и романтики. Мы узнаем из нее, как Рыбаренко, «малороссиянин и из хорошей фамилии», обручается с загадочным портретом, видит таинственные сны, попадает в «нечистый» дом, куда уже много лет не входил ни один крещенный, встречается с призраками.

Загадки эти, впрочем, объяснимы.

«Дело в том, что дон Пьетро вскоре по возвращении своем из России пропал без вести. Сын его, чтобы прекратить неприятные толки, объявил, что он скоропостижно умер, и велел для формы похоронить пустой гроб. После погребения, пришедши в спальню отца, он увидел на стене картину а ля фреск, которой никогда прежде не знал. То была женщина, играющая на гитаре. Несмотря на красоту лица, в глазах ее было что-то столь неприятное и даже страшное, что он немедленно приказал ее закрасить. Через несколько времени увидели ту же фигуру на другом месте; ее опять закрасили; но не прошло двух дней, как она опять появилась там же, где была в первый раз. Молодой Урджина так был этим поражен, что навсегда покинул свою виллу...»

В 1895 году, почти через полвека после выхода в свет фантастической повести А. К. Толстого «Упырь», замечательный английский писатель Герберт Джордж Уэллс опубликовал рассказ «Искушение Харрингея». В нем художник так же, как герой Толстого, активно противился нечистой силе, завладевшей нарисованным им портретом. Даже многие детали сходны. «Харрингей наотмашь ударил кистью по холсту, перечеркнув дьявола крест-накрест, и ткнул кистью в глаз портрету. Глухо прозвучало: «Четыре шедевра!» Слышно было, как дьявол отплевывается. Но теперь преимущество было на стороне Харрингея, и он твердо решил добить дьявола. Быстрыми, уверенными мазками он продолжал закрашивать судорожно подергивающийся холст, пока везде не образовалось однотонное поле блестящей желтовато-эмалевой краски...»

Юмор, легкие диалоги, живое настроение.

У Алексея Толстого и сейчас есть чему поучиться.

«У ног трона, – читаем мы в новелле о золотом грифоне, – протекала прозрачная река, и в ней купалось множество нимф и наяд, одна прекраснее другой. Реку эту, как я узнал после, называли Ладоню. На берегу ее росло очень много тростнику, у которого сидел аббат и играл на свирели. «Это кто такой?» – спросил я у грифона. – «Это бог Пан», – отвечал он. – «Зачем же он в сюртуке?» – спросил я опять. – «Затем, что он принадлежит к духовному состоянию, и ему бы неприлично было ходить голым». – «Но как же он может



сидеть на берегу реки, в которой купаются нимфы?» – «Это для того, чтобы умерщвлять свою плоть; вы видите, что он от них отворачивается». – «А для чего у него за поясом пистолеты?» – «Ох, – отвечал с досадою грифон, – вы слишком любопытны; почему я это знаю!»

Множество странных тайн открывается читателям в повести «Упырь».

«Даша подвела Руневского к двери и, отворив ее, сказала: «Посмотрите, вот наши музыканты!» – Руневский увидел множество несчастных, скованных цепями и объятых огнем. Черные дьяволы с козлиными лицами хлопотливо раздували огонь и барабанили по их головам раскаленными молотками. Вопли, проклятия и стук цепей сливались в один ужасный гул, который Руневский сначала принял за музыку. Увидев его, несчастные жертвы протянули к нему длинные руки и завывали: «К нам! Ступай к нам!» – «Прочь! Прочь!» – закричала Даша и повлекла Руневского за собою в темный узкий коридор, в конце которого горела одна только лампа. Он слышал, как в зале все заколыхалось. – «Где он? Где он? – блеяли голоса, – ловите его, ловите его!» – «За мной, за мной!» – кричала Даша, и он, запыхаясь, бежал за нею, а позади их множество копыт стучало по коридору. Она отворила боковую дверь и, втащив в нее Руневского, захлопнула за собою. – «Теперь мы спасены!» – сказала Даша и обняла его холодными костяными руками».

И вот тут-то Руневский увидел, что это вовсе не Даша!

Надо заметить, что Толстой был хорошо знаком с сочинениями Парацельса, Генриха Кунрата, Теста, со «Сказаниями русского народа» И. А. Сахарова. И это был не просто теоретический интерес. «В одном из писем Б. М. Маркевичу, – сообщает П. С. Громова в монографии, посвященной истории и мистике в творчестве Толстого, – он описывает свой опыт знакомства с обществом спиритуалистов Алана Кардека (письмо от 20 марта 1860 г., Париж): «Оно – (общество – Г. П.) – выпускает журнал, на который, как Вы можете себе представить, я подписался. На собрания общества допускаются посетители, и если я там еще не побывал, то потому, что хочу сперва прочесть все, к этому относящееся. Я уже совершенно удостоверился в их чистосердечии, но есть в их воззрениях и такие вещи, которые слишком уж противоречат моим взглядам на мир бестелесный, как, например, опубликование рисунка дома, в котором Моцарт обитает на Сатурне. Если отбросить столь ребяческую дребедень, есть там вещи весьма занимательные и весьма правдоподобные...»

Много соблазнов таили в себе все эти мистические откровения.

«Писатель, чувствующий в себе искру поэтического таланта, – писал Н. А. Некрасов, – непременно раздувал бы ее, сколько возможно, лелеял бы свой талант, как говорили в старину. Сознывая, что в наше время только поэтический талант, равный Пушкину, мог бы доставить автору и Славу и Деньги, он – (нынешний писатель, – Г. П.) – предпочитает

распоряжаться иначе: поэтическую искру свою разводит на множество прозаических статей: он пишет повести, рецензии, фельетоны и, получая за них хорошие деньги, без сожаления видит, как поэтическая способность его с каждым годом уменьшается».

К счастью, деньги и слава не волновали А. К. Толстого.

Крепкий физически, как сказали бы сейчас, спортивный, он любил самую обыкновенную жизнь, как говорят, живую жизнь: охоту, с ножом и рогатиной один выходил на медведя. При этом оставался человеком светским – не забывал о литературных вечерах, о балах. А темперамент его находил выход в лихих, до сих пор многим знакомых строках.

*Коль любить, так без рассудку,  
Коль грозить, так не на шутку,  
Коль ругнуть, так сгоряча,  
Коль рубнуть, так уж сплеча!  
Коли спорить, так уж смело,  
Коль карать, так уж за дело,  
Коль простить, так всей душой,  
Коли пир, так пир горой!*

В январе 1851 года Толстой познакомился с Софьей Андреевной – женой конногвардейского полковника Л. Ф. Миллера. Это ей посвящено знаменитое стихотворение Алексея Константиновича, ставшее популярным романсом.

*Средь шумного бала, случайно,  
В тревоге мирской суеты,  
Тебя я увидел, но тайна  
Твои покрывала черты...*

Под тайной, кстати, подразумевалась самая обыкновенная маскарадная маска.

То, что встреча оказалась не случайной, Толстой и Софья Андреевна поняли сразу, но вот соединиться им удалось нескоро: полковник Миллер упорно не желал давать развода жене, а мать Толстого к возможности такого, на ее взгляд, слишком неравного брака относилась более чем отрицательно.

«Анна Алексеевна, – писал в 1852 году А. М. Жемчужников, близкий друг и родственник Толстого, – была очень рада видеть меня, и всею душою интересовалась узнать мое впечатление и мнение о Софье Андреевне, с которой сошелся ее сын и к которой серьезно и сильно привязался. Ее душа не только не сочувствовала той связи, но была глубоко возмущена и относилась с полным недоверием к искренности Софьи Андреевны. Не раз у меня, тайно от сына, были беседы об этом, и она, бедная, говорила, а слезы так и капали из глаз ее. Меня она обвиняла более всех, как человека самого близкого и наиболее любимого ее сыном и раньше моих братьев познакомившегося с Софьей Андреевной. Я стоял всею душою за Софью Андреевну и старался разубедить ее, но напрасно. А что ж Алеша? Он любил обеих, горевал, и

душа его разрывалась на части. Никогда не забуду, как я сидел с ним на траве, в березняке, им насажанном: он говорил, страдая, и со слезами, о своем несчастье. Сколько в глазах его и словах выражалось любви к Софье Андреевне, которую он называл милой, талантливой, доброй, образованной, несчастной и с прекрасной душой. Его глубоко огорчало, что мать грустит, ревнует и предубеждена против Софьи Андреевны, несправедливо обвиняя ее в лживости и расчете. Такое обвинение, конечно, должно было перевернуть все существо человека доброго, честного и рыцарски благородного...»

В 1854 году в журнале «Современник» появились стихи Козьмы Пруткова – личности гротескной, фантастической, никогда не существовавшей в действительности, но скоро ставшей известной всей России. Пародийный этот образ Алексей Константинович Толстой создавал в течение многих лет заодно с братьями Жемчужниковыми – Алексеем, Владимиром и Александром. О братьях и Толстом ходили по Петербургу самые необыкновенные слухи. Утверждалось, например, что под видом флигель-адъютантов они как-то объехали ночью всех петербургских архитекторов со страшным сообщением, что Исаакиевский собор провалился; а в другой раз, в день коронации императора Александра II, они тайком выпрягли лошадей из кареты испанского посланника, что привело к некоторой неразберихе; и что это они отправили случайного прохожего, спросившего у них какой-то адрес, прямо на Пантелеймоновскую, 9, где

находилась Жандармское отделение. Создавая образ Козьмы Пруткова, Толстой и братья Жемчужниковы не только сочинили все принадлежащие перу выдуманного поэта стихи, басни и афоризмы, но и придумали ему отдельную биографию, и приложили к ней портрет. Из биографии следовало, что Козьма Прутков родился 11 апреля 1792 года, а в 1820 году был принят в один из лучших гусарских полков, правда, прослужил в нем только два с половиной года – «исключительно для мундира»; в 1823 году Козьма Прутков вышел в отставку и поступил на гражданскую службу по министерству финансов в Провиантскую палату, где прослужил сорок лет, до самой смерти, последовавшей 13 января 1863 года.

Много лет спустя один из братьев Жемчужниковых – Алексей – рассказывал И. А. Бунину: «Мы – я и Алексей Константинович Толстой – были тогда молоды и непристойно проказливы. Жили вместе и каждый день сочиняли по какой-нибудь глупости в стихах. Потом решили собрать и издать эти глупости, приписав их нашему камердинеру Кузьме Пруткову, и так и сделали, и что же вышло? Обидели старика так, что он не мог нам простить этой шутки до самой смерти».

Но если бы только личный камердинер!

В январе 1851 года Алексей Жемчужников записал в дневнике следующее:

«Государь Николай Павлович был на первом представле-

нии «Фантазии» – (пьеса эта входила в собрание сочинений Козьмы Пруткова, – Г. П.). – «Фантазия» шла в бенефис Максимова. Ни Толстой, ни я в театре не были. В этот вечер был какой-то бал, на который мы оба были приглашены, и на котором быть следовало. В театре были: мать Толстого и мой отец с моими братьями. Воротясь с бала и любопытствуя знать, как прошла наша пьеса, я разбудил брата Льва и спросил его об этом. Он ответил, что пьесу публика зашикала и что государь в то время, когда собаки бегали по сцене во время грозы, встал со своего места с недовольным выражением в лице и уехал из театра. Услышавши это, я сейчас же написал письмо режиссеру Куликову, что, узнав о неуспехе нашей пьесы, я прошу снять ее с афиши, и что я уверен в согласии с моим мнением графа Толстого, хотя и обращаюсь к нему с моей просьбой без предварительного с графом Толстым совещания. Это письмо я отдал Кузьме, прося снести его завтра пораньше к Куликову. На другой день я проснулся поздно, и ответ Куликова был уже получен. Он был короток. «Пьеса ваша и гр. Толстого уже запрещена по высочайшему повелению».

«В произведениях литературы я презираю всякую тенденцию, – писал Толстой своему другу Б. М. Маркевичу. И с присущим ему темпераментом добавлял: – Презираю ее, как пустую гильзу, тысяча чертей! Как раззяву у подножья фок-мачты, три тысячи проклятий! Я это говорил и повторял, возглашал и провозглашал!» И в письме к критику М.

М. Стасюлевичу добавлял: «По мне, сохрани Бог от всякой задачи в искусстве, кроме задачи сделать хорошо. И от направления в литературе, сохрани Бог, как от старого, так и от нового! Россини сказал: «В музыке есть только два рода, хороший и плохой». То же можно сказать и о литературе».

При этом произведения самого Толстого изрядно насыщены «задачами», это видно сразу, стоит лишь открыть страницы сочинения Козьмы Пруткова, или «Послание М. Н. Лонгинову о дарвинизме», или «Сон Попова» и «Историю государства Российского от Гостомысла до Тимашова», с ее знаменитым рефреном: «Земля наша богата, // Порядка в ней лишь нет».

Внимательное равнодушное отношение к русской национальной культуре часто подвигало А. К. Толстого на неожиданные поступки. Известно его письмо, отправленное императору Александру II осенью 1860 года.

«Ваше величество, – писал Толстой. – Вследствие нового жестокого приступа моей болезни я несколько дней не был в состоянии двигаться и, так как еще и сейчас не могу выходить, то лишен возможности лично довести до сведения Вашего величества следующий факт: профессор Костомаров, вернувшись из поездки с научными целями в Новгород и Псков, навестил меня и рассказал, что в Новгороде затевается неразумная и противоречащая данным археологии реставрация древней каменной стены, которую она испортит. Кроме того, когда великий князь Михаил высказал на-



мерение построить в Новгороде церковь в честь своего святого, там, вместо того чтобы просто исполнить это его желание, уже снесли древнюю церковь св. Михаила, относившуюся к XIV веку. Церковь св. Лазаря, относившуюся к тому же времени и нуждавшуюся только в обычном ремонте, точно так же снесли.

В Пскове в настоящее время разрушают древнюю стену, чтобы заменить ее новой в псевдостаринном вкусе. В Изборске древнюю стену всячески стараются изуродовать ненужными пристройками. Древнейшая в России Староладожская церковь, относящаяся к XI веку, была несколько лет тому назад изувечена усилиями настоятеля, распорядившегося отбить молотком фрески времен Ярослава, сына святого Владимира, чтобы заменить их росписью, соответствующей его вкусу.

На моих глазах, Ваше величество, лет шесть тому назад в Москве снесли древнюю колокольню Страстного монастыря, и она рухнула на мостовую, как поваленное дерево, так что не отломился ни один кирпич, настолько прочна была кладка, а на ее месте соорудили новую псевдорусскую колокольню. Той же участи подверглась церковь Николая Явленного на Арбате, относившаяся ко времени царствования Ивана Васильевича Грозного и построенная так прочно, что и с помощью железных ломов еле удавалось отделить кирпичи один от другого. Наконец, на этих днях я просто не узнал в Москве прелестную маленькую церковь Трифона Напруд-

ного, с которой связано одно из преданий об охоте Ивана Васильевича Грозного. Ее облепили отвратительными пристройками, заново отделали внутри и поручили какому-то богомазу переписать наружную фреску, изображающую святого Трифона на коне и с соколом в руке.

Простите мне, Ваше величество, если по этому случаю я назову еще три здания в Москве, за которые всегда дрожу, когда еду туда. Это, прежде всего, на Дмитровке прелестная церковка Спаса в Паутинках, названная так, вероятно, благодаря изысканной тонкости орнаментовки, далее церковь Грузинской Божьей Матери и, в-третьих, Крутицкие ворота, своеобразное сооружение, все в изразцах. Последние два памятника более или менее невредимы, но к первому уже успели пристроить ворота в современном духе, режущие глаз по своей нелепости – настолько они противоречат целому. Когда спрашиваешь у настоятелей, по каким основаниям производятся все эти разрушения и наносятся все эти увечья, они с гордостью отвечают, что возможность сделать все эти прелести им дали доброхотные датели, и с презрением прибавляют: «О прежней нечего жалеть, она была старая!»

И все это бессмысленное и непоправимое варварство творится по всей России на глазах и с благословения губернаторов и высшего духовенства. Именно духовенство – отъявленный враг старины, и оно присвоило себе право разрушать то, что ему надлежит охранять, и насколько оно упорно в своем консерватизме и косно по части идей, настолько оно

усердствует по части истребления памятников. Что пощадили татары и огонь, оно берется уничтожить. Уже не раскольников ли признать более просвещенными, чем митрополита Филарета?

Государь, я знаю, что Вашему величеству не безразлично то уважение, которое наука и наше внутреннее чувство питают к памятникам древности, столь малочисленным у нас по сравнению с другими странами. Обращая внимание на этот беспримерный вандализм, принявший уже характер хронического неистовства, заставляющего вспомнить о византийских иконоборцах, я, как мне кажется, действую в видах Вашего величества, которое, узнав обо всем, наверно, сжалится над нашими памятниками старины и строгим указом предотвратит опасность их систематического и окончательного разрушения».

В самом начале Крымской кампании Толстой и его друг князь А. П. Бобринский организовали специальный отряд, который воспрепятствовал бы при случае возможной высадке англичан на балтийском побережье. На свои средства они приобрели в Туле 80 дальнобойных винтовок, к счастью, оружие им не пригодилось, как не пригодилась и быстроходная яхта для совершения каперских вылазок в море. Поняв, что война как началась, так и закончится в Крыму, Толстой вступил майором в стрелковый полк, но в боевых действиях не участвовал: под Одессой заболел тифом.

По окончании Крымской кампании граф А. К. Толстой

был произведен в подполковники и одновременно назначен делопроизводителем Секретного комитета о раскольниках. Назначение это явилось чистой синекурой, но все равно не устроило графа. «Государь, – обратился он с письмом к императору, – служба, *какова бы она ни была*, глубоко противна моей натуре; знаю, что каждый должен в меру своих сил приносить пользу отечеству, но есть разные способы приносить пользу. Путь, указанный мне для этого провидением, – мое *литературное дарование*, и всякий иной путь для меня невозможен. Из меня всегда будет плохой военный и плохой чиновник, но, как мне кажется, я, не впадая в самомнение, могу сказать, что я хороший писатель».

В 1861 году Толстой вышел в отставку. Жил он с тех пор или в имении под Петербургом – Пустыньке, или в имении матери на Черниговщине. Печатался одновременно и в либеральном «Вестнике Европы», и в проправительственном «Русском вестнике», объясняя свою позицию так:

*Двух станов не боец, но только гость случайный,  
За правду я бы рад поднять мой добрый меч,  
Но спор с обоими досель мне жребий тайный,  
И к клятве ни один не мог меня привлечь;  
Союза полного не будет между нами:  
Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя,  
Пристрастной ревности друзей не в силах снести,  
Я знамени врага отстаивал бы честь.*

Популярностью при жизни А. К. Толстого пользовались его исторический роман «Князь Серебряный» (1863), драматическая трилогия: «Смерть Иоанна Грозного» (1866), «Царь Федор Иоаннович» (1868) и «Царь Борис» (1870). А появившееся в январе 1884 года полное собрание сочинений Козьмы Пруткова, по свидетельству современников, за считанные дни исчезло из книжных лавок.

В последние годы жизни А. К. Толстой страдал сильным расстройством нервов.

Еще недавно он отдавал много сил охоте и развлечениям, а теперь изнемогал от хронической астмы и жестоких головных болей. Единственное, что ему помогало – морфий. Друг Толстого Б. М. Маркевич писал 24 сентября 1875 года А. Н. Аксакову из Красного Рога: «Если бы Вы видели, в каком состоянии мой бедный Толстой, Вы бы поняли то чувство, которое удерживает меня здесь. Человек живет только с помощью морфия, и морфий в то же время подтачивает ему жизнь – вот тот заколдованный круг, из которого он уже больше выйти не может. Я присутствовал при отравлении его морфием, от которого его едва спасли, и теперь опять начинается это отравление, потому что иначе он был бы задушен астмой...» Не желая находиться в состоянии столь жалком и беспомощном, А. К. Толстой сам принял большую дозу все того же морфия.

Случилось это 28 (10.X) сентября 1875 года в любимом поэтом Красном Роге.

## **СОЧИНЕНИЯ:**

Упырь. – СПб., 1841.

Упырь. – СПб., 1900.

Полное собрание сочинений. Т. 1–4. – СПб.: А. Ф. Маркс, 1907–1908.

Собрание сочинений. Т. 1–4. – М.: Худож. лит., 1963–1964.

Собрание сочинений. Т. 1–4. – М.: Правда, 1980.

Упырь; Семья вурдалаков. – М.: Свеола, 1993.

## **ЛИТЕРАТУРА:**

*Денисюк Н. Гр. А. К. Толстой. Его время, жизнь и сочинения.* – М., 1907.

*Назаревский Б. Гр. А. К. Толстой. Его жизнь и произведения.* – М., 1911.

*Кондратьев А. А. Гр. А. К. Толстой. Материалы для истории жизни и творчества.* – Петербург, 1912.

*Стафеев Г. И. Сердце полно вдохновенья: Жизнь и творчество А. К. Толстого.* – Тула, 1973.

*Жуков Д. Алексей Константинович Толстой.* – М.: Мол. гвардия, 1982. – (Жизнь замечательных людей).

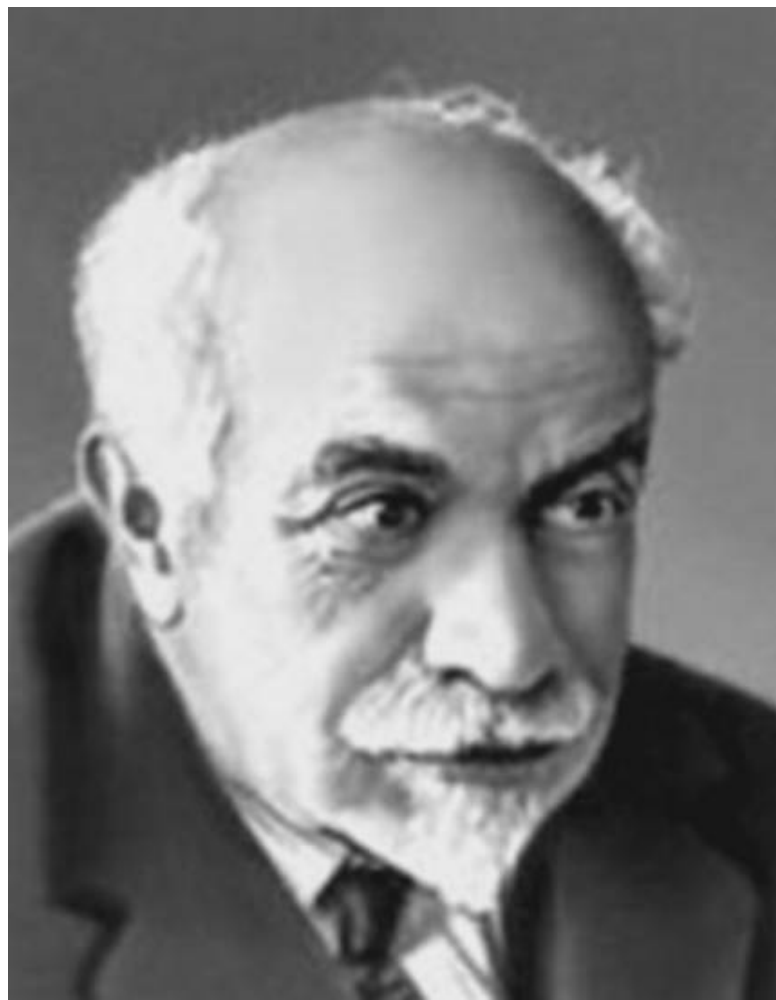
*Пенская Е. Проблемы альтернативных путей в русской*

литературе: Поэтика абсурда в творчестве А. К. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. В. Сухова-Кобылина. – М.: Carthe-Blanche, 2000.

*Громова П. С.* Граф Краснорогский. История и мистика в творчестве А. К. Толстого. – Тверь, 2013.

**Владимир Германович  
Богораз (Тан)**





Писатель, революционер, ученый-этнограф.

«Я родился, – вспоминал писатель, – в апреле 1865 г., точного дня не знаю, возможно, что 15-го, в маленьком гор. Овруче, в глуши Волынского полесья. По бумагам же моим значилось, однако, что я рожден в Мариуполе в 1862 г. Вышло это потому, что, будучи 7-ми лет, я стал надоедать своему отцу – (Натану Менделевичу, отсюда, кстати, псевдоним писателя Тан, – Г. П.), чтобы меня отдали в гимназию, так как читать я научился тогда же, когда начал ходить. Потом подучился и арифметике. Мы жили в Таганроге, отец съездил в Мариуполь и привез метрическое свидетельство подходящего характера...»

И далее.

«В 1880 году старшая сестра Паша, по-русски Прасковья, а по-еврейски, собственно, Перль – «жемчужина», окончила гимназию. Отец хотел ее выдать замуж, но еще не успел приискать жениха, а Паша уехала на курсы. Был у ней характер решительный: возьму и уеду. Так и уехала, и никто не удержал. Через год воротилась из Питера добела раскаленная землевольческим огнем. Было это в 1878 году – феерическое время. Сановников уже убивали, а царя Александра II пока собирались взорвать. На эдакую страшную силу, как русская полиция, нашелся отпор – молодежь отдавалась революции душой и телом. Не все, разумеется, – избранные. Ни одно поколение потом не горело столь жертвенно, как эти юнцы и юницы. У нас в то время уже был гимназический

кружок. Легальные книжки мы попросту украли из фундаментальной библиотеки гимназии, в том числе и все запрещенные – Писарева, Чернышевского «Что делать». Гимназические власти хоть и косились на нас, но ничего не могли сделать. В 1880 г. мы вместе с сестрой укатили в Петербург, в университет. Был я, в сущности, щенок, и весьма не облизанный. Что делать – учиться, читать или бегать на тайные сходки? Денег к тому же нам из дому совсем не посылали. Я все-таки много читал, научился по-французски, по-немецки. Для того чтобы пополнить наш бюджет, писатель Кривенко доставал мне переводы из «Отечественных Записок» – все больше беллетристику с французского. Первые мои переводы были из новенькой книжки Золя и К° «Меданские вечера». Я перевел между прочим «Пышку» Мопассана. Платили по-тогдашнему отлично – четвертной за рассказ. Жить вообще было можно. С двугривенным в кармане заглянешь, бывало, в колбасную: «Дайте на гривенник обрезков». Молоденький приказчик посмотрит тебе весело в глаза и скажет полуутвердительно: «Студенту пожирнее». Отвесит фунт с четвертью и прикинет бесплатно здоровую крепкую лытку. На гривенник купишь гороху и всю эту благодать сунешь в чугунок и поставишь к хозяйке в русскую печь. Тогда еще у петербургских хозяек бывали и русские печи. Через сутки упрет, потом 3 дня едим и всего съесть не можем...»

И еще далее: «Первый год в Петербурге я провел как-то

уединенно, даже на лекции мало ходил. Кстати сказать, поступил я на естественное отделение физмата. А тянуло меня, разумеется, к гуманитарным наукам. Впрочем, «химию» Менделеева я изучил довольно плотно. А на следующий год перешел на экономическое отделение юридического факультета, бывшее «камеральное». Нас было студентов человек 40. Кроме юридических наук, мы слушали политэкономии у Вредена, а римского права не слушали. Из 40 экономических студентов половина были социалисты. Тут я все же перешел на II курс. Экзамены мне дались легко. Но к этому времени я успел увязнуть в политике. Участвовал в студенческом кружке по изучению Маркса. Мы взяли I том «Капитала» и стали сочинять рефераты глава за главой. Сначала поужинаем, а потом читаем до полуночи. Были мы, правда, народники, но Маркса изучили назубок, до сих пор не забывается, почти через полвека. В то время мы все, увлеченные революцией, на учебу, на университет смотрели как на подготовку. Не к тому подготовку, чтобы жить и работать, а к тому, чтобы уйти и погибнуть. Многие из нас занимались, читали, сдавали экзамены, но было сознание, что все это так себе, не настоящее, временное, настоящее будет потом. Я лично продержался в университете 2 года – уж очень я был мал и молод. И только осенью 1882 г. был арестован по студенческим делам и выслан из Петербурга на год в родной Таганрог. Была незаконная сходка. Мы вышибли вон педелей. Одному субинспектору намылили бока. Сходку оцепили

и всю арестовали. Большая часть арестованных отделалась карцером. Выслали, в общем, человек 50».

Странно было бы ожидать другого решения по поводу самого Богораза – ведь это ему принадлежали стихи, напечатанные в 1885 году в газете «Народная воля».

*А там, на высоте, позорный стул стоит,  
Блестящий мишурой, насмешиливо красивый,  
Преступнейший из всех, в нем наглухо забит  
Злодей бесчувственный, жестокий и трусливый.*

*Не надо надписи к позорному столбу,  
Но знак, отписнутый самой судьбы печатью,  
Сияет на его широко-медном лбу.  
Позор ему, позор и вечное проклятье!*

«В тогдашних условиях, – вспоминал Богораз, – террор имел в себе нечто поистине бессмертное. В Петербурге же была другая группа – молодые социал-демократы с Шевыревым и Ульяновым в центре, братом Ленина. Но прежде чем я успел сблизиться с группой Ульянова, меня арестовали 9 декабря 1886 г. На этот раз плотно и надолго. При аресте, как водится, избивали, мне вообще на этот счет везло – при арестах и в тюремных бунтах били меня неоднократно. После того меня посадили в Петропавловскую крепость и только в 1889 г. послали в места отдаленнейшие – в арктический Колымск, за 12 000 верст и на 10 лет срока. Ехал я

до Колымска около года, по Каме и Оби плыл на арестантских баржах, замурованный в трюме. От Томска до Иркутска шагал по Владимирке пешком вместе с кандалной шпаной. В Красноярске в пустой пересыльной тюрьме оголодавшие клопы чуть нас не съели живьем. Мы устроили так называемый «клоповый бунт», который мне случилось описывать в печати. Из Иркутска в Якутск покатили зимой с жандармами на тройках почти полураздетые. С непривычки страшно мерзли – дыхание замерзает в груди. А в Якутске застали послесловие якутского расстрела и казни арестованных. Тень только что повешенного Когана-Бернштейна как будто жила еще в тюрьме...

В Колымск – по двое с казаками сперва на санях с лошадьми, потом на оленях, а там и верхом на мелких якутских коньках. И так прибыли в нашу далекую колымскую вотчину, которую мы сделали колымской республикой, первой российской республикой, задолго до 1905 года. Колымск лежал так далеко на востоке, что касался запада. Из этой Азии было недалеко до Америки. Нас было 50 человек отчаянных голов, а казаков в единственном городе Средне-Колымске было человек 15, и вместе с полицией они нас боялись как огня. На праздник коронации полиция зажжет иллюминацию и устроит себе выпивку. Выпивка крутая, пьют спирт гольем. А мы иллюминацию погасим и устроим контрвыпивку, в три раза покруче. Полиция запрется, забаррикадируется в исправническом доме и сидит до утра. Впрочем, с

населением мы ладили отлично, особенно с девицами. И даже с исправником ссорились редко. По праздникам с ним же разыгрывали винт, «с прикупкой», «с присыпкой», «с гвоздем», «с эфиопом», «с треугольником», «классический». А в тяжелые зимние ночи читали напролет увесистые книги на разных языках – даже исправника Карзина до того навинтили, что он у нас целую зиму старался одолеть «Капитал» – да-да, настоящего Маркса, том 1-й «Капитала». Но не вышло у него никакого капитала. Он запил жестоко и казенные вещи продал наехавшим купцам...

Незабвенные годы в Колымске – натуральное хозяйство, каменный век вживе. «Не половишь – не поешь». Ловишь рыбу, едешь на собаках и вместе с собаками кормишься этой рыбой. В амбаре живет горностай, хватает мышей и таскает мясные куски. На площади гнездятся куропатки. Ночью к порогу приходит лисица и лижет помои. Собак у нас было за 200. Десяток неводов. Рыбы ловили на каждого в год пудов 60, дров выставляли до сотни кубов. Все своими собственными белыми ручками – кого же заставишь? А морозы! Плюнешь – замерзший плевок вонзается в снег сосулькой. Лед на реке толщиной в печатную сажень. Хочешь напиться, изволь пробуравить этот лед. Так же и для рыболовных сетей. Ничего, справлялись. Боролись с природой, как северные Робинзоны, и побеждали ее. Дунет ветер «шалоник» с запада, с «гнилого угла», и зароет совсем с головой – сиди, отсиживайся...

Аппетит, очевидно, приходит с едой. От оседлых народов я забрался к кочевым, странствовал с чукчами и с ламутами верхом на оленях, питался летней падалью, как полагаются по чукотскому укладу, и «кислой» гнилою рыбой, как полагается по укладу якутскому. Научился говорить по-чукотски, по-ламутски и даже по-эскимосски. Вызнал и усвоил всякие шаманские хитрости. Порой бывало и так, что придет шаман и просит: «А ну-ка, погляди в твою колдовскую книгу, – выскажи, какое заклинание против весенней слепоты». «Колдовская книга» была записная тетрадь. В ней было записано, действительно, всякое шаманство. Пишешь на морозе карандашом, руку отморозишь, писавши об жесткую бумагу, а потом ничего, отойдет. Потом на ночлеге, в тепле пишешь вместо чернил оленьей кровью. Записи эти у меня целы до сих пор, не выцвела кровь...

Проехал я по тундре далеко, мог бы без труда перебраться и в Америку, но уже не было смысла бежать. Ссылка приходила к концу. Можно было ехать не дальше на восток, а обратно на запад. В 1898 г. из Колымска проехал обратно прямо в Петербург. Помогла Академия Наук. Был я с разным письменным грузом – с чукотскими текстами и русскими былинами и собственными колымскими стихами, с рассказами, с романами и с такой не угаснувшей жаждой «дайте додраться»; разумеется, додраться с начальством...

Приняла меня публика довольно благосклонно. Братья литераторы прозвали меня «дикая чукча». Из Колымска



в Петербург. Таковую перемену выдержит не всякий. У «чукчи» закружилась голова. В то время расцветало движение марксистов. Я, хотя бывший народник, примкнул к марксистам. Вместе с Вересаевым и Туган-Барановским был в редакции «Начала» и «Жизни». А вернее говоря, был я прямой еретик и таким и остался по сей день. Через несколько лет напечатал ряд статей – «Почему я не эсер», «Почему я не эсдек» и «Почему я не кадет». И за эту мою беспартийность влетело мне трижды – от сих, и от тех, и от оных...

В Петербурге заодно мы справили конец XIX века (собственно, рождение Пушкина). На празднике в яхт-клубе народники соединились с марксистами и выпили братски. А в «Новое Время» не пустили, не приняли. И мне пришлось прочитать вслух стихи: «Разбойникам пера» по адресу черных. Стихи были злые, колючие:

*Оставьте праздник наш. Уродливого торга  
Не нужно нам даров, возьмите их назад.  
Вам чести не купить гримасою восторга,  
С кадилъниц дорогих у вас струится смрад...*

Читаю я скверно, и за это скверночтение полиция постановила выслать меня из Петербурга. Я, впрочем, умудрился уехать раньше высылки. Подвернулася экспедиция Джекзупа – приглашение из Америки. Американцы дали денег, а русские – ученых, комбинация совершенно необычная. Экспедиция имени Джекзупа была организована Американским

Музеем Естественных Наук для установления круготихоокеанской связи между Азией и Америкой. Она продолжалась три года. Изданные ею печатные труды измеряются пудами. «Дикая чукча» покатила за границу – в Берлин, в Париж, в Лондон и оттуда в Нью-Йорк. В Лондоне я заговорил впервые на своем собственном мудреном английском диалекте. Его я усвоил самоучкой на досуге, в тюрьме и в Колымске. Я заговорил, и меня, к удивлению моему же, поняли и даже отвечали, но сам я не понял ни звука в птичьем щебете и клекотании лондонского уличного говора. В Нью-Йорке пришлось не только говорить, но и писать по-английски. Сперва было скверно, а после получше...

Вторая экспедиция-ссылка, на этот раз добровольная: Камчатка, Анадырь, Чукотская Земля. Я сделал за зиму должно быть 10 000 верст, собрал сотни пудов этнографических коллекций и переправил в Америку, а сам через Японию проехал во Владивосток и через Манчжурию в Питер. Тут я снова напоролся на департаментскую высылку и должен был убраться обратно, откуда приехал, к счастью, не к чукчам, а в Нью-Йорк...

В Нью-Йорке прожил два года, обрабатывал «Материалы», издал по-английски два тома *in folio* в 7-ми частях – лингвистика, фольклор, материальная культура, религия, социальная организация. Писал злободневные статьи в российские газеты и палеолитические романы: «Восемь Племен», «Жертвы Дракона». В разгар Японской войны воро-

тился в Европу, а оттуда в Россию. Было это как раз к первому земскому съезду. Зашумела Россия, задралась. То били старые новых, как искони велось, – теперь били новые старых. Я бегал за теми и другими с записной книжкой. Ездил на Волгу, и в степь, и в Сибирь. Был страстным газетчиком, фельетонистом. Почувствовал себя даже всероссийским художественным репортером. Но и науки своей чукотско-английской отнюдь не оставлял. И так я стал человеком двуличным, двойственным. С правой стороны Богораз, а с левой, незаконной – Тан. Есть люди, которые Тана не выносят, а к Богоразу довольно благосклонны. Есть и такие что, напротив, чувствуют к Тану особую склонность, например прокурор и полиция...»

В 1909 году в сборнике «Италии», изданном в пользу пострадавших от мессинского землетрясения, появился отрывок из фантастического романа В. Г. Тана (целиком он никогда не публиковался) «Завоевание Вселенной». Некие «космисты» собираются улететь с родной планеты. Куда? «В пространство, к звездам». Причина? «Пошлость ваша сытая, укороченное довольство».

Для начала космисты пробрили в Земле туннель.

«Относительно туннеля на другой стороне Земли, – рассказывает герой романа, – я не знаю ничего определенного, но, вероятно, его тоже завершили. Алексей часто спускается в наш туннель один и остается там подолгу. Кажется, он переговаривается со своими заморскими товарищами ка-

ким-то неизвестным мне способом. Наверное, и там все готово. В решительную минуту они пропустят ток несслыханной силы, разбудят радиоактивность материи по линии наименьшего сопротивления, расколют ею Землю пополам, как колют кусок дерева, и отбросят обе половины в разные стороны».

Несколько позже нечто подобное проделает банкир Игнатий Руф с Луной – в фантастическом рассказе Алексея Толстого «Союз пяти». Но у Алексея Толстого кипели чисто биржевые страсти, а у Тана – страсти революционные. Предотвращая трагедию землян (космисты ничем, собственно, не отличаются от будущих так хорошо нам знакомых террористов), мудрый старец Антей (аллюзии понятны) предлагает «космистам» новый вариант развития событий. «Ваш колодец, – объясняет он, – послужит нам, как стержень. Мы выроем вокруг него широкий тоннель, обровняем его, как пушку, и укрепим стены. Затем построим ядрообразные дома из пружинной стали. Дадим вам воздуха сгущенного и твердого, инструменты, приборы, запасы и все нужнее. Кто хочет, пусть летит в этих ядрах...»

Но, как это ни странно, мысли писателя уже в те годы занимало больше прошлое, чем будущее. Изучая материальную культуру прошлых веков (прежде всего, культуру народов Севера), Богораз-Тан создает новый жанр, точнее подвид его – «палеолитический роман». Самым известным из серии его книг, посвященных этому прошлому, стал роман «Жерт-

вы дракона», впервые напечатанный в 1909 году в журнале «Современный мир».

«Возле пещеры Анаков на малое время ходьбы была кленовая роща. Ровная она была и густая, но в этой роще не слышались девичьи шутки и не совершались женские обряды. Холодный ветер сорвал все листья с развесистых вершин, и они стояли под дождем нагие и печальные, как женщины без плаща. Но в эту ночь под широким деревом недалеко от опушки горел костер, и у костра сидела Ронта. Она была совсем одна, ибо это был ее обряд, ее одинокий праздник. Подруги совершили его без нее и заключили брак свой и умерли. И к Дракону в юные белые жены она также должна была идти одна, без подруг. Охотница Дина хотела сидеть в эту ночь вместе с нею, как старшая помощница, но она отослала ее. Старая Исса явилась неведомо откуда и собиралась зажечь второй костер, как полагалось по обычаю.

– Зачем? – сказала Ронта. – Не нужно.

– Я расколдую тебя, – неожиданно предложила Исса.

Она употребила бранное слово: «ялама», то самое, которое Яррий бросил когда-то в лицо своей подруге. Губы Ронты задрожали. Перед глазами ее мелькнуло распаленное лицо, залитое кровью, и она готова была вскочить и бежать без оглядки. Но старуха спохватилась и замолкла и почти тотчас же исчезла. И теперь она, должно быть, сидела где-нибудь в темноте, с черепом между коленями, разрушая прежние чары или сотворяя новые. Это было еще в сумерках. Ронта,

оставшись одна, подбросила в огонь новую охапку хвороста, села и задумалась, и забыла о старухе.

Она сидела у костра и смотрела в огонь, но не творила никаких обрядов, никаких заклинаний. Только напевала тихонько про себя старую сказку покойника Дило: «Пять трясогузок сидели под листьями клена». Эти слова напевала Эл-ла-Сорока. Эл-ла тоже была покойница. Все умерли. Она одна осталась.

Она продолжала напевать строфа за строфою старую загадочную сказку.

– *Зачем ты?* – *спросил Дракон.*

– *В жены к тебе,* – *сказала Ронта.*

– *Как берешь ты жен?* – *спросила Ронта.*

– *Пастью беру,* – *сказал Дракон.*

Она закончила свою песню, немного помолчала и сказала: «За племя...»

В лесу было тихо и спокойно. Неожиданно с опушки долетел знакомый тихий свист пестрой совы Шиана, точно так же, как в тот раз, летом.

– Угу! Угу!

Ронта не пошевелилась.

Свист повторился и замер.

И через минуту хрустнул сучок на тропинке.

Высокая фигура обрисовалась в свете костра. Это был Яр-рий. Ронта не подняла глаз. Она видела его тень, но не видела лица.

– Зачем ты пришел? – спросила она после короткого молчания.

– Я твой муж, – отрывисто сказал Яррий.

– Мой муж там, на горе, – сказала Ронта.

– Знаю, – простонал Яррий. – Рул сказал. – И вдруг упал на землю и стал биться головой о землю: – Ронта, Ронта, Ронта!

– Полно, – сказала Ронта. – Сядь здесь.

Яррий поднялся и сел против нее у огня. Теперь она видела его лицо. Оно было, как у безумного. Глаза были дикие, заплаканные.

– Не плачь, – мягко сказала Ронта.

– Ронта, зачем? – снова простонал Яррий.

– За племя, – сказала Ронта, – за маленьких детей.

– Из чрева твоего могли бы родиться дети, – заговорил Яррий. – Несчетное племя, наше собственное. Ты не захотела.

Ронта покачала головой.

– Я не могла.

– Каждый волос твой дороже Анака, – говорил Яррий. – Капли крови твоей, как яркие звезды. Красное сердце твое, как красное солнце.

– Полно, Яррий, – сказала Ронта снова.

– Не дам тебя за них, – воскликнул Яррий еще страстнее. – Кто они? Трусы, убийцы, рабы!

– Будут другие, – сказала Ронта коротко.

– Другие будут жить, а ты умрешь. Не дам тебя. Лучше я сам умру!

Ронта посмотрела на него с беспокойством.

– Что ты задумал? – спросила она.

Яррий молчал. Лицо его стало сурово.

– Я – воин, у меня есть копье.

– Не надо, – поспешно сказала Ронта. – Дракон сожрет тебя.

– Пусть сожрет! – страстно воскликнул Яррий. – Не боюсь. Ненавижу.

– Он – бог, – сказала Ронта с дрожью в голосе.

– Ненавижу богов! – крикнул Яррий запальчиво.

– Нас боги создали, – возразила Ронта.

– На гибель создали! – кричал Яррий. – Жить не дают, радость отнимают у нас! Не нужно их! – Он вскочил с места и весь трясся от возбуждения. В эту минуту он верил в богов и ненавидел их, как худших врагов...»

Смелое смешение мифа и реалий, прекрасное знание жизни северных народов сразу обратили внимание на книги В. Г. Тана. Критики ставили роман «Жертвы Дракона» в один ряд с книгами Джека Лондона «До Адама» и «Борьба за огонь» Рони-старшего.

«Печатаемая повесть, – писал автор в «Послесловии» к своей книге, – представляет попытку восстановить то реальное зерно, которое должно заключаться в широко распространенной легенде о девушке, отданной в жертву дра-



кону, и юноше, защитившем ее. Образ дракона имеет всемирную известность на востоке и на западе. Дракон является племенным гербом у различных народов, например, у древних германцев, и государственным гербом у китайцев. Можно предположить с большой вероятностью, что этот фантастический образ представляет стилизованное воспоминание о гигантских драконах-ящерах. Ко времени появления человека во второй половине третичного периода эти ящеры-драконы должны были вымереть, но тем с большей силой должны были действовать немногие уцелевшие чудовища на воображение первобытного, еще беспомощного человека. Эти последние животные гиганты для человеческих племен являлись божеством, воплощением стихийных таинственных сил, злых или добрых. Дракон, ставший гербом, – это дракон-покровитель. С другой стороны, до сих пор даже в так называемых «высших» религиях дракон или змий с лапами и крыльями является главою и худшим воплощением злых духов, враждебных человеку. В указанной легенде юный герой обыкновенно побеждает дракона и женится на освобожденной девушке. Но скорее могло случиться обратное. Об этом как будто свидетельствуют подробности легенды, – ужас, внушаемый драконом, производимое им истребление живущих по соседству людей и эти постоянные жертвы, приносимые дракону. Только ужас, внушаемый некогда драконом людям, на своих черных крыльях донес к нам это злое воспоминание от древней эпохи раннего палеолита...

Но легенда, стилизуя прошлое, не могла примириться с поражением и гибелью героя, как было, должно быть, на деле. Ибо легенда – это вера человечества, и она из прошедшего всегда устремляется к грядущему. И вера человечества есть вера в конечную победу и конечное торжество над всеми драконами, над всеми злыми силами земли и небес. Вот почему, в волшебном фонаре расцвеченного вымысла, какой-нибудь слабый борец с его костяным копьем и деревянным луком, съеденный некогда ужасным ящером, воскрес победителем, человеко-богом, Юрием-Победоносцем.

Мой Яррий это именно реальный прообраз победоносно-го Юрия. Внуки и правнуки Яррия не желали допустить, что их бесстрашный предок мог погибнуть в пасти чудовища, и в старой зловещей легенде тотчас же переделали конец. Мировая легенда – роман о драконе и юноше с девушкой, как и все мировые романы, кончается победою и счастливым браком. Только остается прибавить: и я там был, мед-пиво пил, по усам текло, да в рот не попало...»

И далее: «Я оставил роман свой как бы неоконченным, ибо я не хотел дать свирепому дракону пожрать благородного Яррия и не мог дать Яррию побить дракона. Пусть же читатели сами кончают, как хотят. Богоборцем мятежником, первым революционером древнейшего палеолита я сделал своего Яррия. И пусть не говорят, что это надуманный образ, ибо от самой седой древности в человеческом сердце, рядом со слепою покорностью самосозданным чудовищам,

живет и неверие, и смелый порыв к отчаянному противоборству. Я сам встречал неоднократно у чукчей, у эскимосов, у тунгусов и юкагиров таких юношей, как Яррий, которые, на зло колдунам и шаманам, утверждают себя в неверии и всех духов, и «верхних, и средних, и нижних», вызывают на бой. Кошунственные речи первобытного атеиста заимствованы мною из действительных речей, слышанных мною где-нибудь у вечернего костра среди необозримой тундры или на берегу морском, перед лицом ревущей бури. И также из действительной жизни первобытных племен заимствованы мною и другие фигуры и сцены романа. В охоте на диких оленей мне самому приходилось участвовать, а также и в празднике воскресения зверей, с той разницей, что центральное место, вместо огромного древнего мамонта, занимал такой же огромный кит...»

И наконец: «Я ничего не сочинял, я только комбинировал. Образы, легенды, рассказы заимствованы у разных племен и северных, и южных. Последняя песнь Ронты – лишь вольный перевод полинезийского предания о затмении солнца. На основе всех преданий, сплетенных мною в цветочный веночек повествования, я старался осознать и углубить эту мечту палеолита».

Другая книга Тана-Богораза того времени – «Чукотские рассказы» (1899) – выдержала подряд три издания. По выходе ее А. П. Чехов писал из Ялты В. С. Миролюбову: «Скажите Тану, чтобы он выслал мне свою книжку. Я о ней слы-

шу и читаю много хорошего, а купить негде, да и совестно покупать книгу земляка». А В. Г. Короленко писал в «Русском богатстве» (1900, № 4): «Все это оригинально, неожиданно, странно и, несмотря на некоторую сухость, длинноты, повторения и излишнюю фотографичность снимков, – запечатлевается в памяти и дает правдивую картину своеобразного неведомого быта. Пусть в произведениях г. Тана этнограф порой слишком связывает художника. Но зато художник оживляет этнографические описания, которые и сами по себе были бы интересны».

Многие стихи Тана-Богораза стали песнями.

Одну из них часто пели на сходках русские революционеры.

*Мы сами копали могилу свою,  
Готова глубокая яма;  
Пред нею мы встали на самом краю:  
«Стреляйте же верно и прямо!  
Пусть в сердце вонзится жестокий свинец,  
Горячею кровью напьется,  
И сердце не дрогнет, но примет конец, —  
Оно лишь для родины бьется...*

«Стихи мои многие ругали, – вспоминал Тан-Богораз, – даже пародии на них сочиняли. Мне трудно судить, сколько в этом правды. Но иные из моих стихов остались и вошли в обиход. Их поют на улицах мальчишки: «Кронштад-

ские матросы», «Прощание». Все это стихи нелегальные, политические. А «Красное Знамя» вошло в революционный канон. Но это не мое сочинение, а только перевод. Из рассказов отмечу: «Колымские рассказы» (о ссылке). Два тома «Американских рассказов». Три тома «Чукотских рассказов». Несколько романов, все больше этнографические, множество очерков жизни, иностранной и русской. Тучи газетных статей. Много выдержало по нескольку изданий. Собираю свои сочинения не особенно настойчиво. Все-таки в 1910 г. выпустил собрание в десяти томах, в изд. «Просвещение». В то время я отсиживал в тюрьме и корректуру читал нелегально. Такова уж судьба российского старого писателя. Два раза объехал землю по широте, был на голоде, был с санитарным отрядом на последней войне, ходил пешком через Карпаты, забрался в Венгрию, на польском фронте был, потом отступил довольно стремительно. Был на коне и под конем. Всякого жита таскал по лопате. Всякого зелья хлебнул, угарного и пьяного. Тяжелое раздумье между двух революций досталось нам дорого. Начальство расставило вешалки по всем городам. А снизу выдвигались анархисты, боевики, всевозможные эксы, дружины боевые и разбойничьи. В то время было хорошо тем, кто был связан с партией, но мы, беспартийные, метались. Началась война, а с ней патриотический угар. Мы, интеллигенты, писатели, художники и прочая шушера, обрадовались, запели, увидели воочию сокровище наше – Федору. Нам, изгоям, духов-

ным изгнанникам, словно подарили отечество, новое с иголочки, только что отчеканенное по военному заказу. А Федора обозлилась всерьез, закрипела зубами, полезла, как медведица, примяла австрийца и попала на немецкую рогатину. Тогда повернулась назад и в собственном лесу стала разметать и расчищать мусор и валежник перебитыми лапами. Стон поднялся, гам, топот. Попадали вековые деревья, щепки полетели за тысячу верст. Так расцвела, разгорелась после стосильной войны тысячесильная, стихийная, безграничная революция России. Вместе с другими я тоже мелодекламировал о верности союзу с «державами», злопыхательствовал и ненавидел, затем проделал всю обывательскую голгофу голодного времени: семью потерял, остался один как бобыль и, соответственно, злобствовал. А теперь, к первому десятилетию революционной годовщины, пожалуй, готов благословлять. Не за людей, за других, сам за себя готов благословить, за собственную чистку. Сколько налипло на душе всяческой дряни за полвека, как раковин на днище корабля. В банке накопилось зачем-то состояние, в ящиках писаной бумаги десятки пудов, в душе какие-то рабские привычки. Был революционер, потом беллетрист, ненасытный художник, всемирный гражданин и стал патриот, малодушный обыватель. Революция счистила все, соскребла до кровавого мяса, и старое судно снова поднялось и надуло паруса. Пока не потонет, плывет, и новые бури не страшны. Старую литературу история заперла на ключик, и то, что было

во мне Таном, поблекло, съезжилось, и стал я профессором частной этнографии, оброс учениками, ассистентами, студентами с рабфака, студентами из геофака и студентами просто так – с ветру, непризнанными вольнослушателями. Так из художника-писателя, из художественного репортера-публициста стал я профессором геофака ЛГУ, ученым хранителем отдела МАЭ АН СССР. Но то, что было во мне Таном, тоже не умерло, живет. Художественный репортер – это огромный граммофон. Душа его вся из чувствительных пластинок, и прежде чем запеть для других, он сам воспринимает для себя. И мой граммофон записал: «Строить, довольно ломали, надо строить». После великого пожара разбрасываем старые бревна, порою довольно бесцеремонно, и тащим новые. Прилаживаем старые доски, склеиваем битые стекла. В новом хозяйстве и старое пригодится. Но больше надо нового. И мы, интеллигенты, российские ученые, спецы от науки прикладной и отвлеченной, из собственной души своей создаем это новое...»

*Строить*, пожалуй, это главный тезис размышлений Богораза-Тана того времени.

Именно этот тезис примирял писателя со столь ожидаемой и все же столь неожиданной новой жизнью.

«В то время мы, интеллигенты, – вспоминал он позже, – были вместе с буржуями, с правящими классами. И сколько мы насмеялись и кляли эту самую революцию. Кто изобрел словечко: хамовоз – автомобиль и центрохам – управ-

ление. Вместе с другими я тоже ненавидел, мелодекламировал о верности союзу и «державам», злопыхательствовал на тему: добейте проклятого немца». Но при этом: «Стоял в хвостах за осьмушкой по карточке, собирал на помойке гнилую картошку. Семью потерял, остался один, как бобыль». К счастью, в 1920 году после освобождения Архангельска от интервентов при научно-техническом отделе ВСНХ была организована Северная научно-промысловая экспедиция. К руководству ею были привлечены действительно выдающиеся ученые того времени – академики А. П. Карпинский, А. Е. Ферсман, Л. С. Берг, В. Л. Комаров, профессора Ю. М. Шокальский, Н. М. Книпович; среди них Владимир Германович Богораз-Тан. Умение работать, умение правильно распределять силы помогло ему создать собственную этнографическую школу. Он написал самый обстоятельный для того времени многотомный труд о чукотском народе, разработал основы чукотской письменности, приложил максимум усилий для организации уникального даже по мировым критериям Института народов Севера, воспитал целую плеяду учеников, ставших светилами в области языкознания, фольклора и этнографии.

В 1922 году в журнале «Жизнь национальностей» появилась нашумевшая статья Богораз-Тана – «О первобытных племенах», подзаголовок которой говорит сам за себя: «Наброски к проекту организации управления первобытными туземными племенами». А в марте 1923 года на коллегии



Наркомнаца в докладе «Об изучении и охране окраинных народов» Тан-Богораз призвал не отвергать с ходу проект создания резерваций. По его мнению, просто произошла подмена понятий, отчего слово «резервация» стало восприниматься в обществе крайне негативно, а это не так, северным народам нужна своя территория, необходимо сохранить их привычный уклад...

В 30-х годах Тан-Богораз занимал место директора Музея религии в Казанском соборе (Ленинград). Это не было случайностью. «Я, кажется, родился безбожником, – писал Владимир Германович, – вырос язычником, а в настоящее время являюсь безбожником воинствующим». В 1932 году он выступил со статьей «Религия как тормоз социалистического строительства среди малых народностей Севера», а одной из последних работ ученого стало «Методическое письмо по организации антирелигиозной работы среди народов Севера». В последние годы жизни Владимир Германович разрабатывал план большой комплексной экспедиции на Крайний Северо-Восток Азии, составил несколько учебников, включая «Букварь для северных народностей» (1927) и чукотский букварь «Красная грамота» (1932), чукотско-русский словарь, книги по чукотскому фольклору, выпустил монографии «*Эйништейн и религия*» (1923) и «Распространение культуры на Земле: основы этногеографии» (1928), напечатал «Материалы по ламутскому языку» (1931), и издал еще два «палеолитических» романа – «Союз молодых» (1928)

и «Воскресшее племя» (1935) ...

Одной из самых ценных работ, помогавших мне в работе над книгами «Секретный дяк», «Носорукий», «Тайна полярного князца», «Белый мамонт», «Сендушные сказки», была и остается монография Тана-Богораза «Чукчи», выпущенная в 1934 году издательством Института народов Севера ЦИК СССР. Для меня это истинный образец того, как должен ученый писать не просто для своих ученых коллег, а именно для *читателя*, пусть даже далекого от науки.

Не могу не процитировать хотя бы несколько строк.

«Одна интересная деталь чукотского фольклора также указывает на южное происхождение чукоч, а именно рассказ про «большого червя», который живет вблизи страны мертвых. Этот червь – красного цвета, полосатый и так велик, что нападает даже на крупных зверей. Когда он голоден, то становится очень опасным и может напасть из засады на дикого оленя и убить его, сжав в своих кольцах. Он проглатывает свою жертву целиком, так как у него нет зубов. Наевшись, он спит в течение нескольких дней там, где поел, и дети мертвецов не могут разбудить его, даже бросая в него камнями».

10 мая 1936 года Владимир Германович скоропостижно скончался в вагоне поезда, следовавшего из Ленинграда в Ростов-на-Дону.

Похоронен в Ленинграде на Литераторских мостках Волкова кладбища.

## ***СОЧИНЕНИЯ:***

Стихотворения. – СПб., 1900.

Восемь племен. – СПб.: Мир Божий. – 1903. – № № 5–8.

Жертвы дракона. – СПб.: Современный мир. – 1909. – № № 9–12.

Завоевание вселенной. – СПб., 1909.

Собрание сочинений. Т. 1–10. – СПб.: Просвещение, 1910–1911.

Крылоносный Икар. – СПб.: Лит. – худож. альманахи изд. «Шиповник». – Кн. 23. – 1914.

Эйнштейн и религия. Применение принципа относительности к исследованию религиозных явлений. – М. – П., 1923.

Распространение культуры на Земле. Основы этногеографии. – М. – Л. Гос. издат., 1928.

Собрание сочинений. Т. 1–4. – М. – Л.: Земля и Фабрика, 1928–1929.

Северная охота. – М.: Молодая гвардия, 1931.

Чукчи. Часть 1. – Л.: Изд-во Инст. Народов Севера ЦИК СССР, 1934.

Восемь племен; Чукотские рассказы. – М., 1962.

Восемь племен. – Магадан: Кн. изд-во, 1979.

Покровский С. Охотники на мамонтов; Линевский А. Листы каменной книги; Тан-Богораз В. Жертвы дракона. – Н. Новгород: Параллель, 1993.

## *ЛИТЕРАТУРА:*

*Колтоновская Е. А.* Интеллигент-скиталец. – СПб, 1912.

*Алькор Я. П. В. Г. Богораз-Тан.* – Сов. этнография. – 1935. – № 4–5.

Памяти В. Г. Богораза: 1865–1936. – М. – Л., 1937.

*Карташев Б. И.* По стране оленных людей: Путешествия В. Г. Тан-Богораза. – М.: Географгиз, 1959.

*Кулешов Н. Ф.* В. Г. Тан-Богораз: Жизнь и творчество. – Минск, 1975.

*Михайлова Е. А.* Владимир Германович Богораз: ученый, писатель, общественный деятель. – М.: Наука, 2004.

*Окулов В.* «Российский Рони» // *Окулов В.* Bibliouniversum. Иваново: Талка, 2005.

**Валерий Яковлевич Брюсов**



Родился в московской купеческой семье 1 декабря (13 декабря по новому стилю) 1873 года.

«Очень рано ко мне стали приглашать гувернанток и учителей, но их дело ограничивалось обучению меня «предметам»: воспитываться я продолжал по книгам. После детских книжек настал черед биографий великих людей; я узнавал эти биографии как из отдельных изданий, которые мне поступали во множестве, так и из известной книги Тисандье «Мученики науки» и из журнала «Игрушечка» (издание Пассек), который для меня выписали и который уделял много места жизнеописаниям. Эти биографии произвели на меня сильнейшее впечатление: я начал мечтать, что сам непременно сделаюсь «великим». Преимущественно мне хотелось стать великим изобретателем или великим путешественником. Меня соблазняла слава Кеплеров, Фультонов, Ливингстонов. Во время игр я воображал себя то изобретателем воздушного корабля, то астрономом, открывшим новую планету, то мореплавателем, достигшим Северного полюса. Потом я нашел Жюля Верна. Не знаю писателя, кроме разве Эдгара По, который произвел бы на меня такое же впечатление. Я впитывал в себя его романы. Некоторые страницы производили на меня неотразимейшее действие. Тайны «Таинственного острова» заставляли леденеть от ужаса. Заключительные слова в «Путешествии капитана Гаттераса» были для меня высшей – доступной мне поэзией. Помешанный, заключенный в больницу капитан Гаттерас ежедневно совер-

шал прогулку по одному направлению: «Капитан Гаттерас по-прежнему стремился на Север». Последние страницы в романе «80 000 лье под водой», рассказ о Наутилусе, замерзшем и безмолвном, до сих пор потрясает меня...»

Учился в частных московских гимназиях – Ф. И. Креймана (1885–1889) и Л. И. Поливанова (1890–1893). В рукописном журнале «Начало» (гимназия Креймана) уже в третьем классе появились первые стихи Брюсова и его рассказ «из индейского быта» под названием «Орлиное перо». В 1899 году окончил историко-филологический факультет Московского университета. Впрочем, «интересы науки для меня определенно отступали перед литературными, – вспоминал Брюсов. – В 1894 году небольшая серия моих стихотворений была напечатана в сборнике, вышедшем под заглавием «Русские символисты». (Раньше этого еще совсем мальчиком, я напечатал две «спортивных» статейки в специальных журналах – в «Русском спорте» 1889 г. и в «Листке спорта» в 1890 г.). Как известно, этот 1-й выпуск «Русских символистов», так же как и последовавшие вскоре два других, осенью 1894 года и летом 1895 года, вызвали совершенно не соответствующий им шум в печати. Посыпались десятки, а может быть, и сотни рецензий, заметок, пародий, их высмеял Вл. Соловьев, тем самым сделавший маленьких начинающих поэтов и прежде всех меня известными широким кругам читателей. Имя «Валерий Брюсов» вдруг сделалось популярным, – конечно, в писательской среде – и чуть ли не



нарицательным. Иные даже хотели видеть в Валерии Брюсове лицо коллективное, какого-то нового Козьму Пруткову, под которым скрываются писатели, желающие не то вышутить, не то прославить пресловутый в те дни «символизм». Если однажды утром я и не проснулся «знаменитым», как некогда Байрон, то, во всяком случае, быстро сделался печальным героем мелких газет и бойких, неразборчивых на темы фельетонистов».

«В двух выпусках «Русских символистов», – вспоминал Брюсов, – я постарался дать образцы всех форм «новой поэзии» с какими сам успел познакомиться: верлибр, словесную инструментовку, парнасскую четкость, намеренное затемнение смысла в духе Малларме, мальчишескую развязность Рембо, щегольство редкими словами на манер Л. Тальяда и т. п., вплоть до «знаменитого» своего «одностишия», а рядом с этим – переводы-образцы виднейших французских символистов. Кто захочет пересмотреть тоненькие брошюрки «Русских символистов», тот, конечно, увидит в них этот сознательный подбор образцов, делающий из них как бы маленькую хрестоматию. Вместе с третьим выпуском «Символистов» я издал свой первый сборник стихов. Озаглавил я его «Chefs d'Oeuvre» («Шедевры»). В те дни все русские поэты, впервые появляясь перед публикой, считали нужным просить снисхождения, скромно предупреждая, что они сознают недостатки своих стихов и т. п. Мне это казалось ребячеством: если ты печатаешь свои стихи, возражал я, зна-

чит, ты их находишь хорошими; иначе незачем их и печатать. Такой свой взгляд я и выразил в заглавии своей книжки. Сколько теперь могу сам судить о своих стихах, «шедевров» в книжке не было, но были стихотворения хорошие, было несколько очень хороших, и большинство было вполне посредственно. Совсем плохих было два-три, не более. Критики, однако, прочли только одно заглавие книжки, т. е. запомнили только одно это заглавие, и шум около моего имени учетверился».

Шум этот был нужен Брюсову. В марте 1893 года в дневнике поэта появляется характерная запись: «Талант, даже гений честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное. Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декадентство. Да! Что ни говори, ложно ли оно, смешно ли, но оно идет вперед, развивается, и будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя. А этим вождем буду я. Да, я!» И сообщал своему другу А. А. Курсинскому, имея в виду будущие прозаические работы: «Я не могу писать так, как писал Тургенев, Мопассан, Толстой. Я считаю нашу форму романа рядом условностей, рядом разнообразных трафаретов. Мне смешно водить за ниточки своих марионеток, заставлять их делать различные движения, чтобы только читатели вывели из этого: а значит у него (у героя) вот такой характер».

Успеху символизма, литературного течения, смело воз-

главленного Брюсовым, весьма способствовало создание собственного издательства под названием «Скорпион» и журнала «Весы». «Полки, книги, картины, статуэтки... – вспоминал редакцию «Весов» поэт Андрей Белый. – И первое, что бросалось в глаза: в наглухо застегнутом сюртуке высокий, стройный брюнет, словно упругий лук, изогнутый стрелкой, или Мефистофель, переодетый в наши одежды, склонился над телефонной трубкой. Здоровое насмешливо-холодное лицо с черной заостренной бородкой – лицо, могущее быть бледным, как смерть, то подвижное, то изваянное из металла. Холодное лицо, таящее порывы мятежа и нежности. Красные губы, стиснутые, точно углем подведенные ресницы и брови. Благородный высокий лоб, то ясный, то покрытый морщинками, отчего лицо начинает казаться не то угрюмым, не то капризным. И вдруг детская улыбка обнажает зубы ослепительной белизны».

Свои взгляды на искусство Брюсов изложил в лекции «Ключи тайн» (1903).

«Искусство есть постижение мира иными не рассудочными путями, – утверждал он в своей лекции. – Искусство – то, что в других областях мы называем откровением. Создания искусства – это приотворенные двери в Вечность. Изучение, основанное на показаниях наших внешних чувств, дает нам лишь приблизительное знание. Наше сознание обманывает нас. Наука лишь вносит порядок в хаос ложных представлений и размещает их по рангам. Но мы не замкнуты в этой

«голубой тюрьме», пользуясь образом Фета. Из нее есть выходы на волю, есть просветы. Эти просветы – те мгновения экстаза, которые дают иные постижения мировых явлений, глубже проникающие за их внешнюю кору, в их сердцевину. Истинная задача искусства и состоит в том, чтобы запечатлеть эти мгновения прозрения вдохновения. Искусство начинается в тот миг, когда художник пытается уяснить самому себе свои темные тайные чувствования. Где нет этого уяснения, нет художественного творчества. Искусство только там, где дерзновение за грань, где порывание за пределы познаваемого – в жажде зачерпнуть хоть каплю «стихии чуждой, запредельной». История нового искусства есть, прежде всего, история его освобождения. Романтизм, реализм и символизм – это три стадии борьбы художников за свободу. Ныне искусство, наконец, свободно. Теперь оно сознательно предается своему высшему и единственному назначению: быть познанием мира вне рассудочных форм, вне мышления по причинности».

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.